

# ДНЕВНИК МОИХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЮ, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ МОЕ СЧАСТЬЕ

Тетрадь 2-я

O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen,  
Der ersten Liebe goldne Zeit!  
Das Auge sieht den Himmel offen,  
Es schwelgt das Herz in Seligkeit;  
O, dass sie ewig grünen bliebe,  
Die schöne Zeit der ersten Liebe\*.

Und sie wird ewig grünen bleiben,  
Die schöne Zeit meiner ersten Liebe.

(Писано 17 марта после окончания 41, А\*\*.)

Leben meinem Leben giebt sie allein.

Продолжаю описание 28 февраля. Теперь 1 марта 10 часов вечера.

... Итак, я беру за руки его, поворачиваю спиною к себе, отесняю его бегом в переднюю, затворяю дверь, гляжу от времени до времени в щелку, что делает он — брат уже вышел; когда он затворил за собою дверь на крыльцо, я выбегаю, жму ему несколько раз руку, хохочу, прошу извинения в своей шутке; он, конечно, не оскорбился ею. А между тем, после говорят мне, — когда я стал вытеснять его, поднялся всеобщий хохот; она, когда я вышел в переднюю, бежит к дверям, чтоб проститься еще раз с ним — конечно, шутя; Воронов становится у дверей в переднюю, затворяет их снова, не пускает. Палимпсестов и Пригаровский хотят оттащить Воронова и отворить для нее двери, — он легко их отталкивает. Дело кончается всеобщим смехом и похвалами моей удали. Но и тут, и несколько раз раньше я спрашивал у нее, не переходит ли моя шутливость за границы. Она говорит — «ничего». Я продолжаю. Через несколько времени она спрашивает воды. Нет, еще это. Я беру мел, который лежит на столе для карточной игры, подхожу к Пригаровскому, ставлю ему на спине крест, потом у Палимпсестова, потом у Воронова; у меня вырывают мел, ставят мне на спине крест — это знак поклонников Ольги Сократовны, страдающих по ней. Я протестую против этого, говорю, что это было справедливо раньше, но не теперь, подхожу к Воронову отцу и ему ставлю крест, потому что ему случилось перед этим случайно пойти из залы в гостиную рядом с О. С., и начинается всеобщее ставление крестов, и весь мой фрак сзади покрыт крестами. Наконец, я начинаю, когда немного утихло, ставить девизы, и у Палимпсестова, когда это могла видеть только Елена Васильевна Акимова, ставлю на отворотах сюртука — на одном Е, на другом

\* Шиллер, «Песнь о колоколе». У Шиллера последние слова: *der jungen Liebe. Ред.*

\*\* Страница оригинала, соответствующая стр. 520 настоящего издания. *Ред.*

А и тотчас же стираю этот девиз. Маленькая Воронова шапит также, особенно со мной; я пишу на полу Н. В. и Н. Ч. (Наталья Воронова и Николай Чернышевский). Воронов тотчас приписывает после Н. Ч.: страдает по О. С. В. Я приписываю: страдал, но больше не страдаю. Он исправляет: страдал, страдает и будет страдать. — Общий смех. Наконец, я пишу крупным шрифтом во всю доску: ИЗМЕННИЦА. О. С. кричит — кто ж? и пишет: изменник. Общий шум, хохот, веселье. Дело кончается тем, что кричат: должно сказать об этом Василию Акимовичу, он заставит вас мыть полы. И мы, в самом деле, вымыли их, только не так, как обыкновенно. Едва утих этот шум и расселись все по местам, О. С. спрашивает воды. Пригаровский и Палимпсестов бросаются принести. Пригаровский успевает раньше убежать в спальную за водой. Палимпсестов становится у двери из залы в гостиную, притворяя их, повторение моей проделки. Как Пригаровский подходит, — хочет вырвать у него стакан. Пригаровский не дает, вода плещется, около  $\frac{1}{3}$  доли пролито в той половине зала, которая к гостиной. Пригаровский, торжествуя, удерживая стакан, несет его О. С., но я сижу на дороге, подталкиваю ловко стакан под дно, он летит, не разбивается, вода разлетается повсюду, попадает на платье невесты. Я вижу, что зашутился слишком, извиняюсь. О. С. меня бранит, я ухожу в гостиную, сажусь подле играющих в карты, притаиваюсь, притворяюсь смиренным. Но оказывается, что платье ничего не потерпело. Я через несколько времени снова выхожу в залу, сажусь с самого краю у окна. Наташа Воронова, с которою я много шалил, подходит ко мне, говорит: «Что вы стали так смирен?» — «А вам хочется, чтобы я не был смиренным, хорошо!» — я схватываю ее, она вырывается, я-таки успеваю схватить ее за талию и сажаю к себе на колени. Общий хохот. Подбегает брат: дуэль — готов — просите секундантов. Пригаровский, которого я прошу, отказывается, потому что сидит подле О. С. А ну дуэли без секундантов, а мне именно хотелось сманить m-r Пригаровского с его места. «Дуэль, дуэль!» — «Нет, не могу». Мне предлагают две палки на выбор, вместо шпаг. Подходит Василий Акимович. — О. С. кричит: «Приколотить их лучше, вместо дуэли». Воронов убегает; я остаюсь и говорю тихонько Василию Акимовичу: «Ударьте меня палкою». Он бьет. О. С. говорит: «Вы, сударь, слишком дерзки. Я ревную вас. Как вы смеете делать при мне подобные вещи?» — «А, так вы гневаетесь на меня — хорошо же! Я выхожу на мороз. Или схвачу горячку, или дождусь вашего прощения». Ухожу в комнату бабушки. Там сижу минут 10. Наконец, Пригаровский приходит сам за мною и уводит меня, говоря, что ему должно сказать мне о Городкове, который поручил мне кланяться. Мы начинаем ходить по зале, я не подхожу к О. С., — ведь я под ее гневом. Палимпсестов говорит: «Стань перед нею на колени, проси прощения». Я подхожу. «Это от вашего имени передано мне приказание?» — «От ее, от ее, я свидетель», — говорит Елена Васильевна. Я становлюсь на колени

перед О. С. и повторяю какие-то 2 стиха о прощении, которые диктует мне Палимпсестов. — «Встаньте, встаньте», — говорит О. С. «Вашу руку поцеловать в знак прощения». Она прячет руки. Я не встаю. Наконец, она вполовину сама дает руку, вполовину Ел. Вас. подносит ее к моим губам, я сам беру ее, целую, встаю и говорю, наклоняясь, на ухо О. С., которая сидит крайняя в углу передней: «О. С., это не одна шутка, а в самом деле я буду всегда делать так». Собираюсь кататься. Мы уходим с Пал[импсестовым] и Пригаро[вским], они заходят ко мне. По возвращении к Ак. на чай начинается серьезный разговор с О. С.

Но ложусь спать. До завтра. Но раньше напишу: у меня на глазах слезы от радости о моем счастье.

Не от горя плачу, с радости.

О, милая моя! О, самое светлое, самое благословенное явление моей жизни! О, да будешь ты счастлива, как ты того стоишь!

O Mädchen, Mädchen,  
Wie lieb ich Dich!  
Wie blickt dein Augel

и, о если б я мог прибавить:

Wie liebst du mich!..  
Wie ich Dich liebe  
Mit warmen Blut,  
Die du mir Jugend  
Und Freud und Muth  
Zu neuem Glücke  
Und Thaten giebst!  
Sei ewig glücklich\*.

О, если б я мог прибавить:

Wie Du mich liebst!

Но любишь ли ты меня, или еще не любишь, ты полюбишь меня, полюбишь! полюбишь! Ты слишком добра, слишком проникательна, чтоб не оценить моей привязанности к тебе, моей полной преданности тебе!

Продолжаю 3 марта, 5<sup>3/4</sup> утра.

Меня пригласили к Акимовым возвратиться пить чай. Начинаются танцы. Да, — О. С-вну спрашивают, почему она не заставляет меня полькировать. «Я не думаю, чтоб он мог ловко полькировать, а я не хочу, чтобы он был смешон».

Она танцует со мною первую кадрили. После каждой кадрили я снова сажусь подле нее. Наташа Воронова постоянно подбегает подслушивать нас, садится подле меня и протягивает голову, становится подле нее и подслушивает и хохочет. Мы прогоняем ее. Я говорю, что если она не отстанет, я сделаю дерзость хуже прежней. «Какую же?» — «Какая придет в голову, но сделаю». — «О, какой вы удалец! — говорит О. С. — Вы и так уж много наделали глупостей!» — «Да, я могу и делать глупости, и быть дерзким, особенно теперь». — Итак, нам беспрестанно мешают.

\* Гете, «Mailed». Ред.

«О. С., где я могу с вами видаться? Весною вы, конечно, будете гулять, но пока где? Могу ли я бывать изредка у вас?»

«Можете».

«Например, когда теперь?»

«На второй неделе».

«Нельзя ли раньше? Вы судья в этом деле, но я просил бы вас позволить раньше, если можно».

«Хорошо, так и быть, можете в воскресенье».

(Итак, я целую неделю не буду видеть ее. А я уж и теперь, через 1½ суток, стосковался по ней.)

«Могу ли я бывать у Патрикеевых? Ольга Андреевна приглашала меня».

«Можете».

«Т.-е. могу ли я там видаться с вами? Вы там ведь часто бываете?»

«Часто; следующее воскресенье уж непременно».

Итак, я отправлюсь в следующее воскресенье. Завтра, кажется, будет неловко.

«Мне ужасно хотелось привезти сюда маменьку, чтобы она видела вас. Конечно, я ничего бы не сказал ей».

«А если она увидит, как я шалю, скажет: какая кокетка. Если я не понравлюсь ей?»

«Нет, понравится, потому что она (хотя, разумеется, в ней старые понятия о вещах) слишком умна, чтобы не понять вас. Маменька моя в сущности весьма добра и будет любить вас больше, чем меня; это потому, что она постоянно говорит, что так будет и что ее понятия таковы, что свекровь должна брать сторону невестки против сына, что положение жены вообще бывает не довольно хорошо. Это верно в нашей крови».

О. С., я совершенно завишу от вас. Я знаю, что это значило бы стеснять вас, не в отношении ко мне, потому что я не принимаю относительно себя никаких обязательств, сердцем нельзя распоряжаться вперед. Но вы верно не имеете таких понятий, потому что это стеснило бы вас; но как бы то ни было, я бы хотел теперь сделать так: перед отъездом своим из Саратова сказать своим — папеньке и маменьке — о моем намерении сделать предложение. Потом просить согласия у Сократа Евгеньича».

«Что ж? Об этом никто, кроме него, не будет знать?»

«Так, по вашему мнению, я должен так поступить?»

«Как хотите».

«Нет, относительно тех вещей, где я хочу поступать, как мне хочется, я не спрашиваю ничьего совета. Это, например, относительно образа мыслей и относительно моих поступков в некоторых случаях. Но когда я спрашиваю совета, я хочу, чтобы получил приказание. Так я могу так сделать?»

«Можете».

Начинает она: «А если ваши родные будут несогласны?»

«Я не думаю. Но если бы так было, я весьма послушлив, я на-

последок безусловно повиновался родителям, но в этом случае их несогласие не удержит меня. Я могу действовать самостоятельно, когда того требуют обстоятельства».

«А если мой папенька не согласится?»

Я помолчал. (Что это такое? В самом деле она думала: «а если он не согласится?», или это было только выражением ее мысли: «У меня есть средство отделаться от тебя, если будет нужно. Я ставлю папеньку отказать тебе». Нет, последнего я не думаю. Она слишком благородна и искренна, чтоб поступить так и чтоб думать подобным образом.)

«А если за мною не будет много денег?»

«Я никак не ожидаю, чтоб могло быть много. Мне бы хотелось, чтобы ничего не было. Сейчас я скажу, повидимому, совершенно противное: конечно, чем больше будет у вас денег, тем лучше, но для вас, а не для меня. Ваши деньги будут, конечно, принадлежать вам. Я не буду никогда считать их принадлежащими нам вместе. И если бы когда-нибудь вам — в а м — вздумалось употребить сколько-нибудь из них на наши общие потребности, я смотрел бы на это не иначе, как на принятие займы. И вы не настаивайте, не действуйте в таком духе, чтоб за вами дали больше денег. У вас большое семейство. У вас есть сестры. Вероятно, они не будут иметь женихами людей с такими мнениями, как я».

Вот существенное содержание нашего разговора.

Она спросила еще, когда я говорил о Патрикеевых:

«Знакомы ли вы с Макс[имовыми]? Я там часто бываю».

«Нет. Но я бы хотел познакомиться. Только не знаю, как это сделать».

Наш разговор был прерван, и я должен был после спросить, как мне познакомиться с Максим[овыми].

Потом я должен был расстаться с нею. Тут разговор наш с Палимпсестовым. А в его квартире, — после того, как он высказал все, — я сказал: «Ну, теперь я скажу, что она может выйти замуж за кого угодно, но что пока она не выйдет замуж, я не женюсь». Больше этого, прямее, я не смел сказать, хотя мне, конечно, очень хотелось сказать ему, что я уже обязался перед нею.

Теперь кончено описание наших последних свиданий и разговоров. Начну описывать — только существенное — наши предыдущие свидания раньше четверга 19 февраля. Но раньше сойду вниз, посмотрю, что делает маменька. Окончив их описание, стану описывать мои мысли, соображения, расчеты относительно моей женьтыбы именно на ней и чувства, произведенные во мне ею и тем, что я стал ее женихом. Пишу все-таки, пока докурится папироса.

Да, я должен прибавить, что в пятницу у Чесноковых, когда мы сидели еще в 1-й раз у дивана в гостиной к стене, отделяющей ее от залы, она мне сказала: «А мне вчера говорили о вас очень дурно, предостерегали от вас, говорили, что вы очень дур-

ной человек, что вам нельзя верить ни в одном слове. Но я знаю, что этот человек говорил от зависти, потому что я вовсе нехороша к нему». — «Что же, он хорошо знает меня?» — «Нет».

(Это должно быть Линдгрен???? — имени она не хотела сказать.) То же самое и по искреннему убеждению могли бы сказать и люди, близкие ко мне. — Потом, когда мы сидели в зале и я описывал свои понятия о супружеских обязанностях (по тому поводу, что она сказала, что поцелует меня только тогда, когда потребуется это; что когда я буду мужем, тогда, конечно, она обязана будет повиноваться мне и что я буду иметь право требовать ее поцелуев) и о свободе жены и о моей покорности ее воле, я наконец прибавил: «Я говорю решительно, как какой-нибудь соблазнитель». — «А разве вы не можете быть соблазнителем?» — «Э! помилуйте» — и я махнул рукой, как бы говоря: «куда»!

Наконец, еще вставки в разговор под конец вечера воскресенья. Когда мы говорили о сватовстве моем и нам мешали, я почти каждый раз, когда снова садился подле нее, говорил: «Я могу продолжать?» Раз она вслух сказала: «Как тускло горит эта лампа». — «Вам скучен этот разговор?» — «Вы умный человек, и не понимаете, почему я говорю это! Нас подслушивают!» — В самом деле, я был чрезвычайно глуп. Наконец, после разговора с Палимпсестовым, я подошел к ней, когда она ходила по зале, и сказал: «Наши разговоры все остаются неоконченными. Что же скажете мне окончательно? Могу я сделать так, как говорил?»... «Можете». — «Я вам не надоел еще?» — «Фи, как это глупо!» И она, сказав это с чувством совершенно искренним, отвернулась и пошла прочь, так что я в самом деле увидел, что это было весьма глупо. Да, я раньше сказал ей — это было до катанья и до начала моих шалостей: «О. С., вчера была вами [сказана] одна вещь, которая огорчила меня» (это: «Он мог сделать со мною все, что хочет»; сказать это прямо я не успел, но потом, когда стали говорить о том, в кого была влюблена, теперь влюблена и в скольких [будет] влюблена О. С., я сказал, для всех, но главным образом для нее: «Хотите, я вам скажу правду? О. С. ни в кого не влюблена и, вероятно, ни в кого не будет влюблена». — «Это правда», — сказала она. — «А была она влюблена один только раз». — «Ни разу», — сказала она. Я нагнулся к ее уху: «А в Киеве?» — «Он был влюблен в меня, а я в него нисколько». — «Теперь я решительно ничего не понимаю». — «Ну да, он был влюблен в меня, а я его вовсе не любила»).

Теперь, 2 марта, понедельник 1 недели поста, 11 часов утра, принимаюсь описывать события, предшествовавшие нашему разговору с ней у них, следствием которых было предложение.

Вот таблица моих свиданий с нею:

26 генваря, понед. — Я видел ее в первый раз у Акимовых.

28 — журнал.

30 — пятн. — именины Вас. Дим., любезничание с Ростиславом.

## Февраль

- 1 — воскрес. Я был у них с визитом. Видел ее на катаньи.
- 2 — Сретенье. У Акимовых.
- 3 — вторн. — У Шапошниковых говорили мне о ней.
- 5 — четв. — Ходил к ним с Вас. Дим., не застал Ростислава.
- 8 — воскр. — У Аким.
- 9 — понед. — Первый раз у них.
- 12 — четв. — [У] Аким. Я упросил ее остаться. Она хотела ехать в театр.
- 13 — пятн. — Шапошниковы (весьма важное свидание).
- 15 — воскр. — У Аким. должен был видаться. Неудача.
- 17 — вторн. — Нашла робость, не успел переговорить ничего.
- 18 — среда — Акимовы — Куприянов.
- 19 — четв. — Предложение.
- 21 — суб. — Я сказал, что буду говорить с нею, как должно жениху, в маскарade.
- 22 — Маскарad. Воскресенье перед масленицею.
- 23 — понед. — У них долго сижу с ней.
- 25 — Шапошн. Среда.
- 26 — Четверг масленицы — не видел ее.
- 27 — Чеснок. Пятница.
- 28 — Суббота — Акимовы.

## Март

Ни 1-го, ни 2-го еще не видел ее. Неужели до воскресенья? Почему же? Во всяком случае успею написать все и сделать что-нибудь по своей диссертации. Итак, начинаю описывать.

В воскресенье, 1 февраля, я поехал к Васильевым с визитом. Конечно, это была шутка — желание показать ей, что в самом деле интересуюсь ею. Но с какою целью интересуюсь? Чтобы просто полюбезничать. Не застал дома Ростислава. Хорошо же, я увижу ее на катаньи. Зашел к Чеснокову, который уже смеялся над моею влюбленностью. Я сам смеялся и тогда смеялся искренно. Пошел нарочно посредине дороги между рядами экипажей. У Полиции попадается, останавливается поезд. Мне говорят: вы должны будете встать на запятки. Тогда я еще сделал бы это, потому что тут ничего серьезного не было. Но я не догадался — слишком плох. Василий Димитриевич выругал меня за эту оплошность. Очень долго не видел ее. Наконец, почти у самого конца Сергиевской улицы она встречается нам. Она сидит с Ростиславом. Потом она попадается беспрестанно. Наконец, поезд стоит несколько времени; когда они против нас, Вас. Дим. и Шапошников говорят ей что-то, она отвечает им любезностью на любезность. Трогается с места, я говорю: «О. С., вы всем сказали по ласковому слову, неужели не скажете мне?» — «Хорошо, будьте ныне у Шапошниковых». После объяснилось, что нельзя, потому что Шапошниковы сами были на свадьбе чьей-то. Когда мы зашли к Чесн[оковым], надо мною и моею влюбленностью всё смеялись.



А раньше, в пятницу на именинах Василия Дмитриевича тоже. Ростислав, который был там и которого я застал уже много пившим, любезничал со мною, а я с ним, и над нашею дружбою подсмеивались. Потом он непременно хотел играть в карты, чтобы обыграть тех, которые были несколько пьяны, а он нисколько, хотя притворялся пьяным. Я помог ему устроить игру. Он действительно выиграл около 1 р. 20 коп., я 25 коп., которые отдал ему, потому что у него мелочи не было, а он говорил — теперь непременно хочется зайти к девкам (о, как мне противно осквернять подобными словами эти страницы, посвящаемые О. С.!). Я отдал свои 25 коп., которые, конечно, знал я, он не отдаст мне. Так он поступает. Пользуется выгодой своего положения, чтоб извлекать выгоды из людей, интересующихся его сестрою. Так он опивает и обыгрывает Яковлева, которому тоже, конечно, не отдает проигранных денег. «Он пропьет меня за полштофа», — говорит О. С., и с ее слов Чесноков и Шапошников — и решительно справедливо. Одним словом, он низкий человек.

Да, я еще позабыл одну свою шутку с нею после первого вечера у Акимовых. Мы разъехались в 4<sup>1/4</sup> часа. Я проснулся в 11 часов. Но мне вздумалось исполнить ее просьбу для шутки в 1-й же класс, который был у меня в VII классе. Это должно быть в среду. И я нарочно хотел спросить у нескольких человек урок, чтоб спросить и Васильева и поставить ему 5. Потом отослать журнал к О. С. Я думал, что, может, осердится за эту смелость, но думал, что шутя и обьявит мне благодарность. Я сильно колебался, делать ли это, наконец, сказал: да до каких же пор мне быть робким? вздумал сделать, так сделаю. — И вот в среду я взял с собою бумаги, сургуч, печать (церковную для большей важности), нитки и отправился в гимназию. В VII классе спрашивал урок — так, это было в среду, потому что раньше этого были у [меня] часы в IV классе, где я приготовил записку к Ростиславу. Спрашиваю уроки у 4—5 человек, спрашиваю, наконец, и его и потом снова других. Венедикт ничего не знает. Все-таки я ставлю ему 5. После этого ухожу в канцелярию, вкладываю в журнал приготовленную записку в этом роде: «Ростислав Сократович, посылаю к вам мой классный журнал и покорнейше прошу вас показать его О. С., чтобы Она (большою буквою) лично могла сама убедиться в том, как послушно исполняются мною ее приказания». Завертываю в бумагу. Надписываю: Ростиславу Сократовичу Васильеву, обертываю ниткою, запечатываю так, что никто не может видеть, что такое в свертке, вхожу в класс, отдаю Венедикту. Потом меня взяла некоторая робость. Я боялся, что она обидится. На другой день Венедикт отдает мне сверток, из которого дома я вынимаю журнал и несколько конфеток. Я ждал ее записки с изъявлением благодарности. Но записки, конечно, не было. Я был очень обрадован успехом своей шутки. У меня до сих пор цел этот сверток, запечатанный ее ручкою разноцветными печатками. Я его получил 29 февраля в четверг. Конфеты — это первый ее подарок мне —



как будто я предчувствовал, что будут и другие — и до сих пор целы, лежат в свертке. На журнале были выставлены карандашом цифры ее рукою: против Венедикта 6 + несколько раз, потом «и т. д.» по Венедиктовой графе.

Я как дитя радовался всему этому.

Прерываю рассказ, чтобы снова написать. Все мои глупые сомнения в чистоте ее сердца, все мои глупые сомнения в ее искренности, возбужденные словами Палимпсестова, совершенно исчезли без всякого следа. Совершенно. Я спокоен за свое счастье с нею, как раньше. Как и раньше, у меня только одна забота: денег, денег, денег, чтоб она жила в полном довольстве. Будут и деньги. Будут. И она будет счастлива со мною. И я буду счастлив ее счастьем.

(Во вторник, 3 февраля, я надеялся быть на вечере у Шапошниковых, где думал полюбезничать и с нею, и с Патрикеевой. Но мне хотелось быть и у Горбуновых — так еще была слаба моя страсть к ней. Однако не пригласили никуда, что меня огорчило. У Шапошниковых, где я был довольно долго — нет, это после, раньше понедельник Сретенье.) На Сретенье был у нас Василий Акимович и приглашал бывать у них. «У нас по праздникам всегда собираются. Приезжай ныне». — О, как я был счастлив, что воротился во-время домой и застал его у нас.

Я продолжал любезничать с нею еще сильнее, чем раньше, но много любезничал и с Катериною Матвеевною, так что перевес был не так заметен, но на следующий раз был уже решительный перевес, и я с Катериной Матвеевной говорил уже так только, из приличия.

О. С. понравилась мне, как и раньше, так же умела слушать любезности, не конфузясь и не давая права быть дерзким, отвечала на них, так же шутила, шалила, кокетничала. Но в этот раз кормила меня, а не Палимпсестова. Я сказал, что был вчера у них. «А мне просто сказали, что в очках. Я думал, что это Куприянов». И она несколько уверилась в том, что я не просто шучу, что она в самом деле мне нравится. Я в этот вечер и в следующий начинаю к восторженно шутливому языку подмешивать более спокойные и серьезные уверения в том, что она мне нравится в самом деле и что если это будет продолжаться так, то я искренно привяжусь к ней. Но особенного в этот вечер я ничего к ней не чувствовал. Мне было весело говорить любезности, играть легким чувством, быть как бы в легоньком упоении. Но все это делалось только с целью приобрести некоторую ловкость и опытность при будущих моих паркетных подвигах и при будущем выборе невесты. Я сказал ей, что в самом деле она весьма добра, весьма умна и поэтому я в самом деле начинаю привязываться к ней. Но особенного ничего в этот вечер не было. Я ее даже вслух назвал кокеткою и сказал, что только говорю ей комплименты, потому что она вызывает на них меня.

На другой день у Шапошниковых Серафима Гавриловна сказала мне: «А вас здесь дожидались более часу и даже скушали кусок сыру, когда узнали, что вы любите сыр». Я очень жалел, что не застал их, что опоздал приехать. Но меня занимало и то, что меня не пригласили на закуску или на вечер к Горбуновым — значит, все это была еще шутка, игра. Когда ж это перестало быть игрою? А вот расскажу, воротясь от Кобылиных.

(Это писано 3 марта, в 6½ час. утра.)

Хотя до сих пор моя привязанность была более шутка, чем серьезное что-нибудь, однако ж я почти каждый день бывал у Чеснокова, где мог говорить о ней, и чрез которого хотел познакомиться с нею. Таким образом в четверг 5 марта мы собрались к ним, но Ростислава уже не застали дома. В воскресенье 8-го мы условились быть с Шап[ошниковым] у Акимовых. Приехали почти в 8 часов, потому что я работал и опоздал одеваться. Приезжаем, она давно уже там. Выходит из гостиной, подает мне руку, через несколько минут говорит, что хочет ехать в театр — ее упрашивают, она говорит, что непременно. Я ей говорю: «Пожалуйста, останьтесь», и она остается. Конечно, в этом было, может быть, кокетство (может быть, она только говорила, что поедет, чтобы заставить меня просить себя, но скорее, что в самом деле хотела ехать и не поехала в самом деле потому, что я просил, но главное, что в этом участвовало кокетство). Как бы то ни было, она сделала это так, что было видно, что у нее доброе сердце. Она в этот вечер больше сидела с Палимпсестовым, чем со мною. Со мною танцевала две кадрили, 2-ю и 5-тую. Но перед 4 кадрию, когда я сидел подле нее, к ней подошел брат жениха, весьма скромный, тихий, застенчивый молодой человек, прося ее танцевать какую-нибудь кадрию. «Я танцую». Он опечалился. Мне стало его жаль. «Вы не говорили еще Палимпсестову, что танцуете с ним?» — «Нет». — «Видите, как ваш отказ огорчил Сахарова. Танцуйте с ним». — «Хорошо. М-г Сахаров, я с вами танцую». Как мне это понравилось, чрезвычайно, и с этого времени я начал постоянно говорить ей, что у нее доброе сердце. И в самом деле весьма доброе сердце. При прощании Сергей Гаврилович просил позволения ввести меня к ним в дом. Она вполтину дала это согласие. Итак, на другой день мы должны были отправиться.

9, понедельник. Я у них. У меня должен был быть Николай Иванович, и я велел приехать за собою к Васильевым. И приехал около 7 часов брат за мною. Когда мы вошли — прямо в комнату Ростислава — меня поразила страшная грязность задних комнат. Входим в комнату Ростислава. Она и Катерина Матвеевна сидят на диване. У них Линдгрэн, потом на несколько времени Яковлев. На столе между прочим подсолнечные семечки! И это меня неприятно оскорбило: грызет семечки. Я сел на кровати рядом с ней. Василий Димитриевич говорит: «Видите, как она печальна; это оттого, что вы слишком плохо себя держите». — «Я не смею». — «Садитесь подле нее, между нею и Кат. Матв. на диване». — Я в

самом деле не смел. Она, наконец, сказала, чтоб я сел. И тотчас же стала мне давать из своих рук орехи. «Я не могу грызть, потому что у меня зубов нет». — «Ну, так я стану грызть». И она начала разгрызать и класть мне в рот. Я каждый раз целовал ее руку. Наконец, я стал говорить ей: «Вы в самом деле держите себя слишком неосторожно. Со мной, например, вы действительно можете позволить себе подобные вещи, потому что я в сущности порядочный человек. Но другим это покажется не так. Я знаю, что это просто живость, веселость, бойкость характера. Но другие скажут, что это желание завлечь». И т. д., разговор в этом роде. (Раньше Шап[ошников] садился подле ее ног и по ее приказанию лапал собачонкою.) Наконец, встали, пошли в зал, потому что тут было слишком накурено. Она сама за руки повела меня через коридор, — ход весьма запутанный. Пришли тут и другие. Начинают танцовать. Я с ней, и говорил уж серьезно, что я в самом деле довольно сильно привязан к ней, что, конечно, это не любовь, но что она весьма интересует меня и весьма мне нравится. «И вы начинаете мне нравиться». — За мною приехали. Я хотел говорить ей при следующем свидании о том, что у них в доме страшный беспорядок и что она должна заняться хозяйством.

На другой день был у Чесн[оковых]. Там объяснили мне ее отношения с матерью и братьями. И как я узнал, что мать ее не любит, и что, по выражению Вас. Дим., «ей дома житье тепленькое», — у меня тотчас сильно развилось сочувствие к ней, очень сильно развилось. Итак, это и доброта, высказанная ею в предыдущий вечер у Ак., сделали то, что я начал чувствовать к ней довольно серьезную привязанность. Я с нетерпением дожидался четверга, когда она хотела быть у Акимовых.

12-го, четверг. — Снова то же. Тут я говорил ей более, чем раньше, что уж теперь она почти совершенно держит меня в руках. Она смотрела с своим вопросительным видом, смотрела своими пронизательными глазами. Тут-то особенно сильную роль играли конфетные билетки, которые впрочем и в прежние вечера она постоянно раздавала мне и другим и с большим умением выбирать. Особенно когда мы сидели у стола, который стоит подле окон ближе к гостиной. Я любезничал, называл ее кокеткою, но когда разговор был между нами одними, часто говорил с чувством. Наконец, сели между этим столом и столиком, на котором трубки, Бусловская, она и Палимпсестов. Через несколько времени подсел и я и сказал — не помню, как это пришлось сказать, — вероятно, говорили о чем-нибудь подобном: «Вот я так опишу будущие отношения к жене, когда женюсь. Я буду покорнейшим слугою своей жены, покорнейшим слугою, покорнейшим слугою, только. Покорнейшим слугою». После этого Бусловская, когда кончили танцовать, подошла к ней и поздравила ее с скорым замужеством, как мне сказал на другой день Палимпсестов.

Иду вниз — начерчу расположение комнаты, в которой мы сиделись.

Нет, начинаю писать вслед за предыдущим, потому что хочется писать.

Итак, общий результат наших разговоров и свиданий у Акимовых был тот, что она мне нравилась больше, чем какая-нибудь девица до сих пор, так что при ней все другие и в том числе Кат. Матв. теряли всякую занимательность для меня, и я только из приличия, только из деликатности от времени до времени начинал говорить любезности Кат. Матв.; о Катерине Николаевне не было, конечно, уж никакого помину с 1-го же разу, как я увидел ее.

Мне хотелось видеть ее, хотелось говорить и любезничать с нею, хотелось даже слышать, как говорят о ней. Но жениться в Саратове я не думал. Поэтому, чувствуя, что по неопытности в подобного рода делах, как человек увлекающийся ею в 1-й раз, я могу увлечься, я начинал чувствовать необходимость прекратить эти отношения, не столько, однако, из боязни запутаться самому — хотя и говорил ей, что я у нее почти в руках, но думал, что я совершенно безопасен, и в самом деле тогда был безопасен. Нет, я только боялся, чтобы не повредить ее репутации своим ухаживанием.

На другой день все-таки мы должны были видаться у Шап[ошниковых].

Вдруг поутру приносят записку от Палимпсестова (она у меня цела) <sup>224</sup>. Я ему говорил шутя, что хочу говорить с ним о серьезном деле, он сказал, что не хочет говорить — поводом к этому было то, что я говорил про него, а он, в раздражении отчасти, про меня ей, чтоб она не слушала, что во всех моих словах нет ни слова правды, что я человек дурной и хитрый.

Я отвечал, что буду у него около 9 часов. Мне кстати нужно было заехать за табаком к Малеевским.

Он поступил чрезвычайно дружески, как следует вполне благородному человеку.

«Послушай, какие у тебя намерения относительно Сократовой?»  
«Никаких».

«Ты не хочешь на ней жениться?»

«Нет». — Я говорил искренно. Тогда я не думал, чтоб мог жениться в Саратове.

«Зачем же ты увлекаешь ее? О вас с ней начнут скоро говорить. Как можно играть ее репутациею. Зачем ты говоришь такие вещи, как вчера, напр., о том, каким бы ты был мужем? Бусловская приняла это за высказывание намерения сватать ее и после, когда она танцевала с мною, Бусловская подошла и поздравила ее с скорым замужеством. Ты решительно можешь увлечь ее. Должно быть осторожнее с девушкой, положение которой и так не завидно, о которой и так уже говорят много дурного. Да и уверен ли ты в себе? Разве ты не можешь увлечься сам?»

«Я сам понимаю необходимость прекратить свои настоящие отношения к ней. А то, что я говорю о том, каким бы я был мужем,

действительно с моей стороны большая неосторожность. Благодарю тебя. Ты поступаешь как истинно порядочный человек».

И мы расстались. Я — с намерением прекратить эти отношения, с чувством, что я зашел было слишком далеко, что, одним словом, я всегда и везде действую или слишком мало, или слишком много, с чувством уважения и благодарности к Палимпсестову.

Итак, завтра у Шап[ошниковых] должен был я видеть ее.

11—13-го я тосковал о том, что едва начинается для меня нечто похожее на жизнь сердца, как уж должно быть остановлено, потому что становится при моем характере слишком серьезно, что у нас невозможна роскошная жизнь сердца, что я должен покинуть эти отношения, которые так были для меня милы и, наконец, так интересны по своей новизне. Теперь следующее свидание у Шап[ошниковых]. Раньше займусь делом, потом снова за это. Теперь 9 часов утра 3 марта, вторник (у меня нет классов). Нет, начинаю писать вслед за предыдущим, потому что хочется писать.

13-го, пятница. — Итак, я в 5½ час. у Шап[ошниковых]. Через несколько времени являются они — она, Кат. Мат., Афанасия Яковлевна. Входят в комнату Сер. Гавр. Мы садимся с нею у стола. Как всегда в нашем обществе, сначала дела не клеятся, разговор идет вяло. Другие сидят на кровати Серг. Гавр. Она берет карандаш и начинает играть со мною в ответы и вопросы (я раньше отдаю ей записку Палимпсестова, — конечно, при всех). «Пишите 3 ответа на 3 вещи, которые напишу я», — говорит она. 1) Я пишу: «Я не смею верить». Я думал, что первое, что она напишет, будет уверение, что любит меня, как у Акимовых накануне давала мне билетки, в которых говорилось: «Я тебя люблю» и т. п. Действительно ею написано: «Я вас люблю» — это продолжалось несколько времени в таком же роде. Мы рвали эти записки. Наконец, она написала: «О. С. Чернышевская». Я взял. — «Это решительно неправда, вы все шутите, а мне вовсе не до шуток». Это я говорил по обыкновению холодным вялым тоном и вслух. Раньше этого я написал: «Игра для меня перестает быть игрою». Она в это время сидела у стола спереди, я сбоку в углу. Наконец, девицы позвали в залу танцевать. Я взял ее руку. «О. С., вы все шутите. Я начинаю не шутить». — «Я вовсе не шучу. Я хочу иметь такого мужа, каким вы будете по вашим словам». Конечно, это сказала она таким тоном, что если б дело расстроилось, то это должно было принять за шутку. «Хорошо, я не могу жениться уж по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться». Не знаю, поверила ли она этому, — кажется, мало, потому что подобные вещи для нее мало привычны. Мы пошли

танцевать. Я танцевал с другими или говорил с Гавр. Мих. и т. п. С нею не могу теперь припомнить, что я говорил, кроме повторений, что все-таки я привязан к ней, что если это будет продолжаться так, то я, наконец, не буду в состоянии рассудить, и т. п. Наконец, танцую с нею последнюю кадрили. Но раньше я упрашивал ее быть у Аким[овых] в воскресенье и дожидался этого дня с нетерпением. В последней кадрили я говорю: «Итак, вы видите, что наши отношения не могут продолжаться. Я теперь расскажу вам повесть моей любви. Сначала мне весьма нравилась одна девушка, имени которой я не скажу, потому что не хочу подвергать ее насмешке вместе со мной, потому что это была с моей стороны любовь решительно глупая (это я говорил о Кобылиной). Я уже готов был объясниться ей, но объясниться странным образом, в таком роде: «Вы умная, добрая, благородная; но вы теперь не можете играть такой роли в обществе, какую могли бы играть, потому что слишком мало развиты. Позвольте мне быть образцом вашего ума и сердца». — Но тут я у Шапошниковых увидел Катерину Матвеевну и увидел, что кроме той девушки есть другие девицы, умные, добрые и милые. Наконец — третье и самое страшное явление в моей жизни — явились вы. Не знаю, чем это кончится, но, вероятно, этот третий акт будет самым серьезным, самым страшным актом. Я теперь еще могу несколько рассудить, но скоро не буду в состоянии. Я и теперь делаю глупости. Но скоро вы можете заставить меня сделать страшную, самую непростительную глупость. Потому что вы теперь знаете, я не могу, не вправе связать чьей бы то ни было судьбы с моею». «Так вы будете у Акимовых?» — «Буду». — «Какие кадрили вы танцуете со мною?» — 1-ю я хочу танцевать с невестой, 2-ю с Кат. Матв. (Она, бедная, несмотря на то, что я говорил ей: «Не любите никого!» — «Даже вас?» — «Даже меня», — тотчас отвела меня в сторону и просила быть у Аким[овых], а эту кадрили у Шап[ошниковых] танцевать с нею. Это было между 4 и 5 кадрилию в комнате снова Серг. Гавр., потому что мы все беспрестанно переходили из комнаты его в залу и снова в его комнату. Я сказал, что танцую с ней. О. С. взяла бы меня танцевать, но мне жаль было Кат. Матв., я просил позволения у О. С. танцевать с нею, и она ушла без всякого каприза — как она умна и добра!) Итак, какое безумство с моей стороны. Я хотел прекратить отношения к ней, а между тем упрашивал ее быть у Аким[овых]. Мне хотелось видиться с ней еще 2—3 [раза] перед разлукой, чтобы говорить с нею тоном искренней преданности и сожаления о необходимости разлуки, мне хотелось порадоваться еще моею начинающейся любовью перед прощанием с этой любовью. Но я сам не понимал хорошенько, что я делаю. Мне хотелось совершенно серьезно поговорить об этом: «О. С. Чернышевская», я сам не знал хорошенько, что будет следствием этого разговора. Скорее всего я ожидал, что увижу и она сама скажет мне, что это была шутка и что тогда со спокойным сердцем я могу отстать от нее. Но не-



ужели в самом деле только шутка? едва ли», — думал я. Что же делать? Я сам не знал вперед, что я сделаю. Я знал только, что мне сладко быть с нею и что не видеть ее для меня весьма тяжело. Боже мой, как я безумно поступал! Но однако я уж говорил себе, что если бы этого потребовали обстоятельства, я не отказался бы, если бы этого потребовала она, но она не потребует, это кончится одним любезничаньем.

Теперь иду относить Кольцова в переплет<sup>225</sup>. Потом снова писать. Теперь уж событий осталось всего только за 4 дня. Потом буду описывать свои чувства, свои соображения.

Да, раньше при втором свидании у Акимовых я сказал Катерине Матвеевне, когда она все просила меня любить ее и все говорила, что я ее обманываю, что я люблю О. С., я сказал ей, что характер О. С. мне гораздо более нравится, потому что она живая, веселая, бойкая. — Когда О. С. потом, по обыкновению, говорила мне: «Как же вам верить, вы то же самое говорите Кате», я сказал: «Нет. Конечно, я шучу с ней так же, как с вами, но тех серьезных и неромантических вещей, которые говорю вам, тех не пламенных, а спокойных уверений в своей привязанности, какие вам, я ей не говорю. И сейчас, например, я сказал ей, что вы по характеру мне нравитесь больше, чем она».

Да, еще должно будет прибавить ее рассказ о первом нашем свидании у Чесноковых и о том, как она боялась меня. Это было сказано мне во 2-й и 3-й вечер у Акимовых.

(Пишу в 12 часов. Должен скоро уйти.)

Итак, я ждал с нетерпением вечера воскресенья. Аким[овых] нет дома. Это меня ошеломило совершенно. Я был совершенно расстроен, больше чем тогда, когда мы неудачно ходили к самим Васильевым. Что делать? Чесн[оков], к которому я заехал, говорит: «Во вторник отправимся». Хорошо. Снова то же нетерпение.

Наконец, вторник. О, как долго, казалось мне, я не видел ее. Да и теперь — всего третьи сутки, а мною овладевает нетерпение так, что я не поручусь, что не буду у них до воскресенья. Нет, выдержу, буду повиноваться ей. Хотя и довольно тяжело это для меня, тем более, что у [нас] не все еще переговорено с нею, что мы с нею не совершенно понимаем друг друга. Может быть, и она не совершенно доверяет мне. Но нет, она слишком умна и слишком пронцательна, чтоб у ней могло оставаться во мне какое-нибудь сомнение. Но пора идти. После, по возвращении от Кобылиных.

Сажусь в 10 час. вечера продолжать.

Во вторник мы приходим в комнату Ростислава с Вас. Дмитриевичем, в столовой сидит она с одной из Рычковых, в комнату Ростислава не входит, — я не решаюсь выйти к ним, хотя Фогелев выходил, — не решаюсь выйти, чтоб не показать Ростиславу, что я у нее, а не у него. Она посылает мне Рычкову с билетиком:



Огонь в твоей пылающей груди  
Не для меня ты, для другой храни.

«Я давно был уверен в этом», сказал я. Она входит раз или два в комнату, я только несколькими словами перебрасываюсь с ней и то весьма вяло. Наконец, она входит одетая проститься: «Мы едем в театр». Я был так глуп, что даже не успел, или не догадался, или не посмел спросить, когда она будет у Акимовых.— Весьма неудачное свидание! Через  $\frac{1}{4}$  часа мы уходим, т.-е. Вас. Дим., а не я. Я просидел бы бог знает до каких пор, чтоб показать, что [я] у [них] для Ростислава, а не для нее. Весьма неудачно! Даже Вас. Дим. говорит, что неудачно, и утешает тем, что на масленице устроит блины и «тогда можно будет поправить дело».

Хорошо. На другой день (в среду 18 числа) является [человек] снова с запискою от Палимпсестова. (Эта записка у нее; должно будет приложить ее к делу.) «Если ты сколько-нибудь уважаешь О. С., будь ныне ее ангелом хранителем. Она будет у Аким[овых], там будет один молодой человек весьма дурных правил. Малейшая любезность с ее стороны будет поводом к жесточайшей атаке. Мне к сожалению нельзя быть». Я догадался, что это Куприянов, но думал, что скорее кто-нибудь другой, потому что Купр[иянов] не стоит того. Отвечаю Палимпсестову в восторженных выражениях благодарности и возгласах, что он истинно порядочный человек.

Еду к Акимовым. Вслушиваюсь у двери. — Дома. Но никого еще нет. Я хотел подождать несколько минут на улице, чтобы кто-нибудь приехал. Выхожу за ворота. Подъезжают. Это она. Ее провожает Фогелев. Фогелев уезжает, она остается. Боже мой, как все неосторожно! Я встречаю. Провожая ее по двору. «Палимпсестов истинно порядочный человек, вот что он мне написал. Я отдам вам, хотя бы не следовало отдавать». — «Но как же мы войдем вместе?» — говорит она. — «Я взойду через несколько минут». Через несколько минут вхожу. Скоро является и Куприянов. «Это он?» — «Должно быть он». — «Как же он узнал, что я буду здесь?» — «Да вчера в театре он спрашивал, когда я буду». — я сказала, что завтра или после завтра. Ну, если бы я знал, что это он, конечно, я не сказал бы, что опасения и хлопоты излишни. Она во весь вечер почти не говорила со мною. Весьма много сидела с Купр[ияновым] у стола, который в гостиной подле окон. Я сидел большею частью с Павл. Вас., но от времени до времени подходил к ним. Видно было, что дело не клеится, что она весьма нелюбезна с ним. Я был спокойнее. Теперь она предупреждена, верно будет осторожна. Но тогда я не знал еще всего ее ума.

(Да, в рассуждении о ее пороках: в субботу 28 февраля в квартире Палимпсестова, он сказал: «Конечно, можно кокетничать, но кокетство имеет свои пределы; она переходит эти пределы. Не будь она так умна, что никогда не позволит за-

быть с нею, это было бы отвратительно». А, так вот ты сам хотя ты весьма ограниченный человек, все-таки признаешь ее ум — да и общий голос, что она весьма умна, даже дураки все понимают это, — тем более понимаю и ценю я.)

Однако этот вечер она отрезала волоса и у меня, и у Куприянова, которого я при [ней] дернул за волосы, т.-е. [чтобы] перед собою одурачить, и он не нашелся, что сделать, когда узнал, что это я, а не она; через несколько времени вырвал у нее бумажку с волосами, которые рассыпались по полу; она хотела спасти, но не могла; это мне было приятно, чтобы этот дурак и мерзавец не думал, наконец, что у нее есть его волосы.

Она весь вечер была со мною весьма нелюбезна, говорила больше с Купр[ияновым], говорила мне, что я ревнивец и что я хочу быть ее дядькой, опекуном. Так что, наконец, Елена Вас. это заметила и сказала мне, что, верно, я поссорился с О. С., да и в самом деле под конец вечера я сделал какую-то глупость; конечно, нарочно, чтобы рассердить ее\*; кажется, насильно хотел взять ее под руку, чтобы пройти по зале. Она показывала раздраженный вид. Наконец, я сказал (сказав по обыкновению, что я и теперь почти в руках у нее), что я хочу поговорить с нею серьезно, и просил сказать, когда можно. «В пятницу», — сказала она, и я готовился в пятницу сказать ей, то, что пишу в начале описания 19 числа (описывая свои намерения). Наконец, выходим. Моей лошади еще нет. Я хочу идти пешком. Она садится вместе с Купр[ияновым]. Конечно, ее провожает какая-то старуха Акимовых. Они трогаются с места. Тут в первый, кажется, раз в жизни я догадался, наконец, что должен сделать — они уже выехали из ворот. «О. С., позвольте мне сказать вам весьма важную вещь, всего два слова». — Останавливаются. Я подхожу и сажусь на облучок. Они сидели вдвоем с Купр[ияновым], старуха внизу на дне саней. «Ступай», — кричу я. Что в самом деле вообразил бы себе Куприянов, если бы ехал один с нею? Да разве он и не решился бы на какую-нибудь дерзость? Ведь он дурак и свинья. Едем. Кучер не знает куда и везет мимо Патрикеевых. Она говорит с Куприяновым. Я вмешиваюсь в их разговор иставляю Купр[иянова] в глупом виде, его разговорставляю незанимательным, дурачу его, заставляю говорить с собою. Ну, где же ему бороться со мною, когда я хочу дурачить его? «Вы решительно мой дядька», — говорит она; потом не говорит со мною, не отвечает на мои вопросы и т. д. Я нарочно все обращаюсь к ней, зная,

\* Между прочим, когда она не хотела подать мне руку, чтоб пройти по залу, и отвертывалась от меня, я сказал (тут стояла Ел. Вас. и сказала: «О. С. решительно на вас сердится»): «О. С. изволит капризничать, только она забывает, что капризничать можно только тогда, когда наши капризы кого-нибудь огорчают». — Она обернулась ко мне с раздраженным видом: «Что вы сказали?» — «То, что мы можем капризничать только тогда, когда наши капризы кого-нибудь огорчают, и что поэтому вы напрасно капризничаете». — После этого она еще больше стала выказывать досаду на меня. Это было почти перед самым отъездом.

что она не будет отвечать. Говорю различные пустые вещи, только бы говорить. У меня есть предчувствие, что она не в самом деле сердится на меня. Наконец, я говорю: «Говорите со мною или не говорите, это для меня все равно. Неужели вы думаете, что это меня может бесить? Но все-таки, если я ныне вел себя глупо, я имею право на вашу благодарность. Один мой поступок ныне вы должны одобрить (это то, что я был для нее, для того, чтоб предупредить ее). Вы благодарны мне за это?» — «Благодарна». — «И не мне одному? — есть еще человек, имеющий право на вашу благодарность (т.-е. Палимпсестов), — вы благодарны и ему?» — «Да». Наконец, подъезжаем к их дому, ворота заперты. Она выходит из саней и подходит к калитке, опираясь на руку Купр[иянова], который, кажется, не прочь считать свое свидание с нею удачным. Я подхожу к калитке, когда она входит с ним. «О. С., дайте и мне руку в знак прощения». Она не отвечает ни слова и убегает. Я дружески прощаюсь с Куприяновым и иду пешком домой, из всего вечера довольный только тем, что проводил ее, что она не ехала одна с Купр[ияновым]. Боже мой, я и теперь с огорчением вспоминаю, что было бы, если бы она поехала одна с ним. Эта скотина могла вообразить бог знает что. «Итак, все-таки я был у Акимовых недаром», — думал я.

После этого четверг. Теперь только некоторые вставки и начну свои размышления о ней и о себе и стану описывать свои впечатления.

Боже мой, как подробно описано! Все, решительно все с стенографическою подробностью! Никогда я не считал себя способным к тому, чтобы до такой степени дорожить воспоминаниями, которые, наконец, так длинные! Ведь целых 44 простых и 10 двойных страниц! Да еще все старался быть как можно более кратким, только в описаниях двух вечеров давал себе полную волю! И все-таки написал целых 64 страницы. Ведь это выйдет:  $64 \times 27$  (строк)  $\times 80$  (буквы в строке) = 138 200 букв! Ведь это 140 страниц обыкновенной печати! ведь это, наконец, целая повесть. Вот плодовитый писатель! И все это еще не кончено. Начинаются размышления и впечатления, да будут еще вставки. Господи, твоя воля! В самом деле дороги мне эти воспоминания! До воскресенья (когда, наконец, увижу ее — уж я успел стосковаться!) еще ведь испишу немало страниц! Ну, не ожидал от себя такой усидчивости!

Да мало ли чего я не ожидал от себя?

А вот теперь как превзошел свои ожидания!

Ложусь. Завтра вставки и размышления.

Да будешь ты благословенна!

Ныне отдал переплетать Кольцова. Просил, чтобы переплели как можно лучше.

Да будешь ты счастлива, как ты того заслуживаешь!

Да будешь ты счастлива!

Этим хочу закончить:

Да будешь ты счастлива, ты, давшая мне столько счастья. Ты, достойная счастья.

### 1. Почему Ольга Сократовна моя невеста

Сажусь писать свои замечания, размышления и т. д. 11 часов 4 марта, среда. Я в самом спокойном состоянии духа и не расположен совершенно к восторженности.

Итак, 1. Почему я в четверг 19 числа решился сказать ей, что если она не захочет выйти за другого, то может всегда выйти за меня?

Я чувствовал к ней сильную привязанность, это правда. Но чтоб уж тогда эту привязанность можно было назвать настоящей любовью, этого я не скажу. Действительно, это чувство было живо; но это была более потребность любить кого-нибудь, а не именно любовь к ней — именно потребность любить, видя некоторую возможность удовольствия, волновала мое сердце; это было то самое чувство, которое так часто в уединенных мечтах расширяло мое сердце, хотя не было еще никакого предмета, — напр., в Петербурге, где я постоянно мечтал о счастье жениться и постоянно завидовал тем людям, которые могли жениться в первой молодости. Ведь я, главным образом, жалел и о том, что я в Саратове, потому что, живучи здесь, я потерял 2 года для приобретения себе возможности жить, т.-е. содержать как должно жену.

Но и то правда, что я чувствовал к ней несравненно более сильную привязанность, чем, напр., к Кобылиной — какое же сравнение! То просто мысли в досужное время о хорошенькой девушке с весьма добрым сердцем, и — еще более — девушке, которая хорошо одевается и живет не в грязном (хотя довольно пошлом) кругу. Да и казалась ли она хорошенькой? Я постоянно сомневался в ее красоте. В некоторых позах ее лицо действительно красиво, но в иных позах оно мне решительно не нравилось. Но особенно моему желанию считать ее очень хорошенькой мешало то, что ее лицо очень часто имеет глупенькое выражение, т.-е. на нем совершенное отсутствие мысли, когда оно не одушевлено детскою веселостью. Мало того — слишком часто, почти постоянно, когда глаза ее не блещут огнем детской радости, выражение ее лица напоминало мне пошлое и прямо глупое выражение лица Ал. Фед. Раева. И было постоянно совестно, что мне нравится ребенок, потому что, наконец, она решительно дитя, мало того, что по летам, еще более потому, что совершенно неразвита в умственном отношении. Кроме того, я чувствовал и совестился, что главным образом мне нравится в ней то, что они довольно роскошно живут и что она всегда хорошо одета, т.-е. в дорогом платье и т. д. — это мне было решительно совестно. Поэтому, увидевши даже Патрикееву, я совершенно забыл о Кобылиной.

Почему же я думал суток двое после вечера на святках у Шапошниковых о Патрикеевой и с удовольствием любезничал с ней в первый вечер у Акимовых, т.-е. 26 января? Главным образом

потому, что это была первая девушка, с которой я говорил смело, с которой я любезничал, — меня радовала моя смелость, мое любезничанье. Я думал не о ней, а о том, что я смело любезничал с нею.

Но как я увидел О. С., я решительно потерял всякую охоту смотреть на Патрикееву и говорить с ней, и если иногда говорил, то единственно из совестливости, чтобы не заставить ее огорчиться моим слишком большим невниманием. Патрикеева даже не казалась мне хорошенькою. У нее нет в лице того глупенького выражения, как у Кобылиной, нет ни одной позы, в которой она абсолютно не нравилась бы, как есть такие позы у Кобылиной, но зато она решительно уж нехороша. Выражение ее лица гораздо лучше, но черты лица гораздо хуже. И в 40 лет она не будет вовсе хороша. А теперь она недурна, главное особенно дурного в ее лице нет ничего, но и хорошенькой может быть названа только потому, что у нее весьма молоденькое личико и что держится довольно свободно. Правда, что в ней нет ничего, что бы мне не нравилось, как в большей части других девиц; правда, что она лучше многих. Но зато ведь на тех я смотрю с решительно неприятным чувством, не люблюсь ими, а чувствую какую-то неприятность.

А О. С.? Во-первых, она решительно хороша собою, как мне показалась тогда — теперь я нахожу, что она красавица, и она в самом деле красавица. Но тогда мне показалась она просто весьма хорошенькою. И тогда уж готов я был сказать, что по чертам лица она гораздо лучше всех, кого я видел в Саратове — в Петербурге ведь я никого не видел (кроме той хорошенькой девушки на выставке и молоденькой хозяйки Ив. Вас. Писарева в Семеновском полку на вечере — но тех я видел слишком мельком и слишком издалека и только любовался ими, как картинками, никак не более. А дама в бель-этаже в опере на последнем представлении, когда я сидел в креслах? Уж это решительно только любовался и более ничего, еще менее чего-нибудь другого, чем в тех двух случаях; всего этого нельзя даже сравнить с тем, как я любовался Кобылиной, — далеко ниже)<sup>226</sup>. Конечно, мне ничье лицо не нравилось так, как ее лицо или, по-настоящему говоря, я, только глядя на нее, не чувствовал сомнения в том, что она действительно мне нравится, что она действительно хороша!

А она на самом деле хороша! в самом деле хороша! увлекательно хороша!

Но еще более мне нравилась живость, бойкость, инициатива ее характера и обращения. Не из нее надобно выпрашивать, она сама требует — это решительно необходимо при моем характере, [мне] который необходимо должен всегда дожидаться, чтоб им управляли, чтобы говорили: делай то-то и то-то, делай вот что; при моем характере, который решительно лишен всякой инициативы, — на этом-то и основано, что я решительно в душе, по сердцу, а не по одним умственным убеждениям демократ. Я всегда должен

слушаться и хочу слушаться того, что мне велят делать; я сам ничего не делаю и не могу делать — от меня должно требовать, и я сделаю все, что только от меня потребуют; я должен быть подчиненным — как всегда и был, даже подчинен был людям, которых ставлю ниже себя, напр., Срезневскому, а не управляющим им; ведь, напр., и в классе я хотел бы говорить то, что хотят слушать ученики, хотел бы ставить такие отметки, какие должен ставить по их мнению. Так и в семействе я должен играть такую роль, какую обыкновенно играет жена, и у меня должна быть жена, которая была бы главою дома. А она именно такова. Это-то мне и нужно. Пусть мне говорит: живи так, ешь то, ложись тогда-то, поезжай со мной туда-то, купи то-то; пусть мне говорит: я хочу, чтоб образ нашей жизни был таков-то, чтоб наши деньги употреблялись так-то.

Да, у нее много характера. Я буду иметь, конечно, много влияния на нее, но она будет иметь на меня гораздо более. Что же выйдет? У меня характер мнительный, робкий, неуверенный в самом себе, поэтому постоянно наклонный к унылости, тоске. Если случается, что у меня гости и что они не придают своего направления разговору, у меня тотчас является унылость и вялость, скука и тоска. Но если в людях, с которыми я сижу, господствует какое-нибудь истинно определенное расположение духа, т.-е. какая-нибудь живость и не тоскливость, я всегда поддаюсь ему и сам от души становлюсь жив и весел.

Такова именно она. Она разольет живость, веселье на нашу жизнь, и мы будем жить игриво, «припеваючи», именно припеваючи, с постоянной улыбкою и радостью в моем сердце.

Не дай бог, чтобы моя жена подчинялась моему расположению духа! Тогда у нас было бы страшное уныние и тоскливость. Напр., если б вроде Кат. Матв. Патрикеевой — она стала бы ходить повесив голову, как хожу я, если предоставлен сам себе, — тосклива б была наша жизнь. И она завяла бы, и я изныл бы, глядя на нее и на себя.

У нее именно такой характер, какой нужен для моего счастья и радости. Это одна из главнейших причин, по которой я хочу иметь своею женою именно ее.

Какая завлекательность в обращении вследствие этого! Этой завлекательности нельзя противиться. Смело, бойко, решительно она овладевает тобою, и радостно идешь, куда ведет она! И как является, бывало, напр., у Акимовых, кто царствует? Она, она царствует над всеми, она душа всех и всего, все смотрят на нее, все хотят говорить с ней, все думают о ней.

Для всех почти это кажется кокетством. Кокетство, может быть, и есть в ней, но его в сущности должно быть довольно мало, менее, чем в других. Нет, что она увлекает — делается без особого желания кокетничать с ее стороны. Нет, в ее характере то, что когда она держит себя совершенно непринужденно, так, как ее характер велит ей держать себя, она завлекает всех.



Это вторая причина по моей программе.

3. — Чрезвычайная доброта сердца (много случаев, назову только два: кадриль с Сахаровым, чтоб его не огорчить, тогда, когда ей хотелось танцевать с Палимпсестовым, и то, что давала целовать руку Шапошникову у Чесн[оковых], — а со мной сколько раз эта доброта проявлялась! Постоянно, постоянно! Чрезвычайная мягкость характера, необыкновенная мягкость — решительно в ней нет упрямства, нет ни малейшего следа капризов.

И эта доброта, эта мягкость, это веселье при ее тяжелом не-сносном положении в семействе! Да, этот характер переработает меня, не поддастся моей склонности к апатии, вялости, а сделает меня похожим на нее! А сколько случаев доброты со мной! Постоянно! Напр., хотя 5 кадриль в маскараде, которую хотела она танцевать с Веден[япиным]! Да разве я не делал постоянно выходки очень глупые, неловкие? Сердилась ли она на них? Разве я не держал себя весьма глупо, т.-е. не пользовался случаями сидеть с ней, говорить с ней, какие она сама предлагала мне? Разве я не был весьма часто решительно глуп? *bête*? Разве я не постоянно вел себя так, что ко мне шла поговорка: *Si jeunesse savait*?\* А разве я не называл ее постоянно кокеткою, большею частью весьма некстати, т.-е. при людях, при которых это вовсе не следует говорить? Разве я не целовал ее руку всегда весьма холодно, по принуждению, говоря, что это я делаю только потому, что она этого хочет? Разве мало и говорил я ей, и делал с нею такого, что решительно раздражало бы, оскорбляло бы всякую другую девушку? А теплое, искреннее пожатие моей руки?

Боже мой, сколько в ней ума и такту! Боже мой, если б во мне была хоть сотая доля этого такту! Я говорю не про неловкость мою, — это само по себе, это другое — а про такт, которого я у себя нахожу более, чем у других!

Обошлась ли она, при всей странности, эксцентричности (не говорю уже о *bêtise*, глупости, недогадливости) моих поступков и моего характера, со мной хоть раз невопад? Нет, нет! Всегда, всегда какая пронизательность и какой такт! Ни разу ни одного слова, ни одного движения неудачного!

Но теперь я знаю ее ум лучше, чем раньше. Она решительно умнее всех, кого только я ни видывал! Это гениальный ум! Это гениальный такт! Перед ней я чувствую себя почти так же, как в старые годы чувствовал себя перед Вас. Петр. в иные разы при разговорах о политике — вижу, что тут не я попираю других, а что надо мной могут, если захотят, посмеяться, потому что выше меня, потому что дальше и шире меня видят! Потому, что более взрослые, чем я, который всех считает или тупыми, или детьми перед собою.

Нужно только будет развить этот ум, этот такт серьезными учеными беседами, и тогда посмотрим, не должен ли я буду сказать,

\* Если бы молодость знала.



что у меня жена M-me Staël! И тогда посмотрю, кто будет иметь право сказать, что я принадлежу женщине, равной которой нет в истории! (Боже мой, это я пишу без восторженности, если угодно, холодно, а между тем пишу такие вещи, которые решительно для каждого смешны, по своей страшной самонадеянности, по своему страшному удивлению к ней! Но этого я не побоюсь думать! Нет, я буду гордиться ею и не буду сомневаться в основательности моей гордости!)

Прямота — она сама говорит, что у нее не может [быть] скрытности, что она вся наружу, — и это действительно так. Кто скажет, как она, на мой вопрос: «Но я должен сказать, что делаю это (говорю, что я ее жених) только потому, что думаю, что делаю этим услугу вам?» — При ее уме и проницательности она, конечно, видела, что держит меня совершенно в руках и что может заставить меня делать, что угодно, и вовсе не имеет необходимости отвечать на этот вопрос «да», чтобы удержать меня, — «почти» (Нет, мы говорим такие вещи, что должны говорить прямо, к чему это «почти» — говорите решительно. Боже мой, как это глупо! Боже мой, как это глупо, какая глупейшая несноснейшая навязчивость там, где и так ясно.) — «Если хотите, почти можно выпустить». — Ну, кто скажет это?

(Боже мой, как мне хочется видиться с ней — мало ли что нужно переговорить с ней, — но главным образом затем, чтобы спросить ее, что ей во мне не нравится, чтобы постараться уничтожить в себе эти стороны.)

В ней чрезвычайное благородство, как следствие ума, доброты, мягкости сердца, деликатности, такта, прямоты, но, наконец, как дар природы. О, как много благородства! Оно во всем! И ни капли принудительности, притворства! Разве она сколько-нибудь изменила свое обращение с тех пор, как рассчитывает на меня? Разве она старается показать мне больше привязанности, чем в самом деле есть? Разве она оставляет мне хоть малейшее сомнение в том, что может быть влюблена в меня? «Вы мне нравитесь. Вы хороший человек. Вы умный человек». — Разве она притворяется чем-нибудь передо мной, чтоб больше завлечь меня?

Наконец, — отчасти следствие всего этого вместе, — решительное отсутствие пошлости, пошлости, которую вижу почти во всех, на кого смотрю с вниманием, кого считаю стоящим того, чтобы смотреть, есть ли в нем пошлость или нет! Нет, я никогда не мог взглянуть на нее свысока, как смотрю на Ник. Ив., как смотрю на Ан. Ник., не говоря уже о других (Евг. Ал. человек, не имеющий ничего блестящего, отличного — он просто человек, ограниченный человек). Например, хоть эти нежности, любезности — есть ли в них что-нибудь приторного? Что-нибудь отталкивающего, как, напр., в выражениях нежности Ник. Ив. или Анны Никаноровны? Под приторным я понимаю не притворное — в этих двух людях его нет, а что-то такое, что неприятно. Вообще, нежные чувства редко, весьма редко можно видеть без того,

чтобы, кроме радости, они не внушали какого-то неприятного чувства. У нее этого нет.

Ум, благородство, прямота! Нет, подобное ей существо едва ли найду я, если потеряю ее!

И какая рассудительность, осторожность при видимой чрезвычайной свободе! Т.-е. она не хочет остерегаться почти никогда; но разве она позволяет себе что-нибудь в самом деле неосторожное? Как она всегда удерживает мою неосмотрительность!

Наши приехали из церкви. Иду вниз.

Одна половина программы кончена. После обеда другую.

Да будешь ты счастлива, как достойна того!

3 часа. Продолжаю.

Ей хочется избавиться от своих неприятных отношений к матери, которая ее терпеть не может. Это вещь, которая описана у меня раньше. Вообще, как скоро человек в тяжелом положении и я могу помочь ему, у меня рождается к нему любовь, и если это собственно от меня зависит, я всегда исполню все, что он от меня потребует. Я говорю это не в похвалу себе. Итак, это была одна из главных причин, по которой я согласился. Но если б я не чувствовал к ней слишком сильной привязанности раньше, собственно за ее качества, а не за ее положение, конечно, я бы не пожертвовал собою. Напр., для Кат. Матв. я никогда не решился [бы], хоть она весьма добрая девушка.

На меня чрезвычайно много подействовала ее доверчивость ко мне. Верно она понимает мой характер и верно я кажусь ей хорошим человеком, честным, благородным человеком, если она решилась поступить так в отношении ко мне. А если она понимает меня так, как я в самом деле, и все-таки решается выйти за меня, значит, она думает быть счастливой со мною. А ума и проницательности, чтобы понять, у нее слишком достанет. Достанет и расчетливости, рассудительности, чтобы не обмануться в своих соображениях о том, хороша ли будет ее жизнь со мною. Но мне ее доверие ко мне чрезвычайно льстит.

После [того], как я увидел глупость своей [первой] привязанности (впрочем, весьма пустой и слабой, привязанности, которая никогда не была даже достаточна, чтобы уверить меня в том, что она действительно, что она не обольщение праздной фантазии, чем она и была), потому что долго я не мог [бы] ей доставить средств жить так, как теперь она живет, я обратился к мыслям, более достойным порядочного человека. Я сначала обольстился блеском, который окружает девицу, принадлежащую к семейству, живущему на широкую ногу. Но потом я увидел мелочность, пустоту этого чувства, вовсе недостойного порядочного или сколько-нибудь умного человека. Я понял, что для счастья в супружеской жизни, и особенно для счастья моего, необходимо, чтобы моя жена была решительно довольна своим положением, — я не могу видеть вокруг себя недовольных чем бы то ни было, тем более недовольных мною. Для довольства своим положением нужно, во-

первых, то, чтобы человек никогда не думал, что его положение (материальные условия для жизни) хуже того, чем могло бы быть. Следовательно, для счастья жены необходимо, чтоб она никогда не имела мысли о возможности найти себе лучшую партию, чем ее муж. Говоря попросту, я пришел к мысли, что никак не должен жениться на девушке, которая была бы по своему положению в обществе выше меня. Сначала, и почти до самого 15 или 16 февраля, во мне преобладала крайность, я хотел жениться не иначе, как на весьма нуждающейся девушке, на девушке, которая была бы весьма бедная и беспомощная, чтобы она всю жизнь радовалась и тому немногому довольству, каким бы пользовалась со мною и какого никогда не видывала раньше. Но когда я узнал О. С., эта мысль у меня ослабела. «Если б можно было жениться на ней», — думал я. «Но она может составить лучшую партию», — думал я. «Я не вправе делать ей предложение; может быть она, не осмотревшись хорошенько, ослепленная моею любовью, и согласилась бы, но как я буду лишать ее лучшего жребия?»

Но вот она сама выбирает меня — если так, я счастлив.

Хорошо. Это все равно, материальная ли или нравственная невыгодность положения заставляет считать девушку жизнь со мной несравненно выше, чем ее прежняя жизнь. Все-таки остается сущность моего образа мыслей, остается [не] нарушенным основное правило, которое я поставил себе законом для женитьбы: выйти за меня замуж кажется ей не потерей, а выигрышем. Она настолько умна и рассудительна и тверда, что не раскисает в этом предпочтении. Хорошо. Я спокоен. Моя совесть чиста. Я могу без упрека себе предаться своему увлечению. «Ты говоришь, что для тебя жить со мною лучше, чем жить теперь. Я счастлив, что мои надежды на счастье с тобою встречаются с твоими мыслями о счастье со мною». «Я не обманываю тебя, я не лишаю тебя ничего такого, о чем бы ты могла пожалеть после. Хорошо. Ты можешь располагать мною; я сам не смел бы никогда дерзнуть на это, чтобы не ослепить, не обольстить тебя, своим пламенным языком не заставить тебя забыть о расчетах, про забвение которых ты могла бы пожалеть впоследствии. Я счастлив тем, что ты считала и видишь, что не будешь жалеть о том, что осчастливила меня».

Я могу без упрека совести стать твоим мужем. А могу ли я без упрека совести отказаться от этого счастья? Нет. Я бы стал вечно говорить себе: «Ты мог помочь и не решился помочь, когда требовали твоей помощи. Ты подлец, ты трус, ты мерзавец, tu es lâche — низкий, гадкий, трусливый, подлый человек.

Я принял вызов наслаждения, как вызов битвы принял бы («Егип. ночи» Пушкина).

Отказаться было бы вечным позором для меня. Я навеки потерял бы возможность уважать себя.

Я навеки остался б заклеямен презрением в своих глазах. Я был бы несчастлив, я мучился бы собственным презрением. Я не мог не поступить так, как поступаю.

А советоваться с родными? Есть случаи, в которых никто не должен спрашивать ничьего совета. Это те случаи, когда чувствуешь себя обязанным сделать так, а не иначе. Если они будут согласны — лишнее спрашивать их; если бы не согласились — я потерял бы право спрашивать их совета, потому что не послушался бы его.

А если они не согласятся теперь потому, что она покажется им слишком ветрена? Об этом будет речь после. Вот кратко мои мысли: «Вот какова она по моему убеждению. Вы не убеждаетесь, что она такова в самом деле, потому что мне кажется такою. Вы не доверяете мне? Что ж я за человек после этого? Мне лучше не жить. Я решительно спокоен. Даю вам столько-то времени на размышление. Если вы не согласитесь, я убью себя, потому что лучше умереть, чем быть человеком бесчестным и бесхарактерным. Лучше умереть, чем отказаться от счастья». И они согласятся, потому что я буду говорить совершенно спокойно и они увидят, что я сдержу слово. А если не согласятся? Я действительно убью себя. Убью и только. Я не переживу своего бесчестия, но я умру все-таки бесчестным, потому что связал себя обещанием, которое выполнить не в состоянии. Но к чему я говорю вздор? Разве папенька и маменька будут в самом деле противиться? Не думаю, не ожидаю этого. Много-много, если им не совсем приятно будет согласиться, но наверное согласятся, не доводя меня до таких угроз. Я, если нужно, я спокойно сдержу свои угрозы. Маменька не переживет моего самоубийства. Жаль. Но зачем же была так самонадеянна, так малодоверчива ко мне, что довела меня до этого. Зачем поставила меня в такое положение? Мне горько будет убить ее, еще более горько будет то, что, взявши на себя обещание выше моих сил, я связал на несколько времени О. Сокр. — но что же делать? Ссориться я не могу, умереть я могу. А если они скажут: «Дай раньше узнать ее?» — «Нет, нечего узнавать, я ее знаю, жить с ней мне, а не вам. Если я такой дурак, что даже в этом деле нельзя предоставить меня собственной воле, куда же я гожусь? Да или нет, и через час или вы поедете знакомиться с родными моей невесты, или я убью себя». Это я сделаю. Это для меня вовсе нетрудно даже. Это в моем характере.

Во мне, говорят Николай Иванович и Анна Никаноровна, мало фантазии — вот вам доказательство на бумаге, какой я фантазер. Ведь серьезно обдумываю, как поступить в таком случае, который решительно невозможно ожидать. Ведь решительное сопротивление моих родных решительно невероятно. А я все-таки принимаю его в расчет серьезно и уже обдумал все. Жаль, что не припас еще завещания. Я смеюсь над своими глупыми опасениями. Но если б, против всякой возможности, случилось так, как

представляет мне возможным моя необузданная фантазия, конечно, я совершенно хладнокровно поступил бы так, как думаю поступить. Теперь только одно колебание — выбор рода смерти. Вероятно (о, какой положительный человек! — сам люблюсь на свою нелепую фантазию), запасусь к тому времени ядом. Если яда не успею запасти, думаю, что лучше всего будет разрезать себе жилы. Однако, предварительно прочитав, как древние поступали в этом случае, напр., Сенека. Если не успею получить положительных сведений, чтобы успех открытия [жил] был несомненен, зарежусь чем-нибудь, только не бритвою, потому что это слишком неверно. А убить себя все-таки убью. Если понадобится, конечно. Уж это верно. Одним словом —

Что мне крепкий замок,  
Караул, ворота? (в переводе — несогласие родных).  
Не любивши тебя,  
В селах слыл молодцом,  
А с тобою, мой друг,  
Мне и жизнь нипочем.

Смешно. А пишу совершенно серьезно. Знаю, что сопротивление невозможно. А уж приготовился к нему и знаю, что сделаю, если оно будет. Но, само собою разумеется, глупо ожидать его.

Ну, такого смешного, нелепого (и вместе такого несомненного в случае возможности сопротивления, т.-е. возможности невозможного) эпизода не найдется, вероятно, в моей памяти<sup>227</sup>.

Продолжаю. Я не могу отказаться. Это было бы бесчестно. Я бы покрылся позором в своих глазах.

Мало того. Я бы мучился сознанием своего бессилия решиться на что-нибудь. «Не посмел, не посмел, подлец, принять счастья, не спросив папеньки и маменьки; не посмел решиться на свое счастье, потому что это важный шаг — а, да ты, действительно, такая дрянь, какую считал себя! Ты, братец, ни на что не способен! Славная ты, братец, тряпка! Вот уж истинный Гамлет».

Я, действительно, тогда стал бы Гамлетом в своих глазах, мысль, которая и без того уж постоянно меня мучила. Тогда я навек не освободился бы от нее. Теперь я спокоен. Теперь я чувствую себя человеком, который в случае нужды может решиться, может действовать, а не существом из числа тех крыс, которые собирались привязывать звонок на шею коту.

О, как мучила меня мысль о том, что я Гамлет! Теперь вижу, что нет; вижу, что я тоже человек, как другие; правда, не так много имеющий характера, как бы желал иметь, но все-таки человек не совсем без воли, одним словом человек, а не совершенная дрянь.

Меня мучило бы (если б я поступил не так, как поступил 19 февраля<sup>228</sup>, в четверг) и то, что я поступил с таким благородным существом, как О. С., неделикатно, грубо, негуманно, что я человек бесчувственный. Как тяжело ей должно было поставить

меня в такое положение, как она поставила меня! Как дорого это усилие должно было ей стоить! А я все-таки не пожалел ее, не тронулся ее положением! Разве не тяжел ей был вызов? Значит, я должен был принять его, если во мне есть хоть сколько-нибудь способности сочувствовать тяжелому положению; значит, положение тяжелое, когда она решается на такие вещи! Я не тронулся этим? Да после этого я был бы скотина, свинья! Да после этого я не мог бы никак не быть убежден в том, что я деревянный человек, что я бесчувственный человек, что я поступил по-свински, что я бесчувственная скотина.

(Иду вниз к маменьке. Там, конечно, буду делать дело. Именно, поправлять свои цифры в словаре.) (Продолжаю в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов.)

## [2.] Почему я должен иметь невесту?

Мне жаль ее, мне совестно перед собою не дать руки, которую хотели взять, чтобы выйти из пропасти.

Да что ж, наконец, я делаю здесь? И до каких пор это будет продолжаться? Жить здесь — значит терять свою карьеру. Будет ли у меня довольно сил, чтобы вырваться отсюда? Два года, которые я прожил здесь, в течение которых я два раза собирался решительно уехать и все-таки не уехал — почему, это другое дело — отчасти по апатии, отчасти из сожаления оставить маменьку — доказали, что у меня нет решимости уехать отсюда, если меня не принудят обстоятельства. А какие обстоятельства, кроме женитьбы, могут заставить меня сделать это? Здесь я жить женатый не могу, во-первых, потому, что никогда не буду иметь средства к жизни — на 1 400 р. не проживешь; во-вторых, потому, что я здесь буду всегда в зависимости от маменьки или должен буду постоянно иметь неприятности с ней, потому что ее мысли об образе жизни вообще, тем более об отношениях семейной жизни, решительно не сходятся с моими; нет, довольно и того, что я живу в подчинении, но чтоб моя жена должна была подчиняться кому-нибудь, т.-е. чтоб я стал подчиняться кому-нибудь в своих отношениях к жене, т.-е. в повиновении ей, а моя жена подчинялась кому-нибудь и чему-нибудь в образе своей жизни — нет, это уже слишком. Да и может ли она поладить здесь с маменькой? Нет, потому что не она будет главою семейства. Другое дело, если маменька приедет жить с нами в Петербург, — весьма рад, потому что там она будет гостья, будет пользоваться всем уважением, всякою предупредительностью от нас, а мы, т.-е. моя жена будет главою дома. Одним словом, здесь жить женатый я не могу. А я должен, я хочу жениться. Следовательно, уж по одному этому я должен ехать в Петербург. А моя карьера? Неужели я должен остаться учителем гимназии, или быть столоначальником, или чиновником особых поручений с перспективою быть ассессором? Как бы то ни было, а все-таки у меня настолько самолюбия еще есть, что это для меня убийственно. Нет, я дол-



жен поскорее уехать в Петербург. А я не могу ехать, если обстоятельства меня не заставят. Какие же обстоятельства? Служебные? Я уверен, что меня не вытеснят, а я скорее поставлю всех вверх дном и останусь, если уж на то пошло. Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать, что принудил меня к тому-то, тем более мой начальник, что мог меня вытеснить. Нет, я слишком самолюбив, чтобы позволить так повернуться делам. Остается одно — приобретение возможности жениться. Да не просто в части возможности жениться, а по необходимости жениться. Мысль о женитьбе только тогда подействует на меня, когда я буду думать не «я хочу жениться», а когда я буду знать, что я должен жениться, что мне уж нельзя не жениться, одним словом, когда я буду не человеком, который думает жениться, а когда я буду женихом. Когда же я буду женихом? Если не стану теперь, если не стану женихом О. С., когда же и чьим же женихом я буду? (об этом после). Итак, я должен стать женихом, чтобы уехать отсюда; без этого у меня не достанет сил уехать отсюда, покинуть маменьку. Я должен уехать. Без этого одного уж я несчастлив на всю жизнь. Итак, я должен стать женихом О. С., чтобы получить силу действовать, иначе —

На путь по душе  
Крепкой воли мне нет.

Ну, хорошо. Если бы даже я уехал отсюда? Я уж испытал прелесть отношений с девицами через отношения к О. С. Эта прелесть уже увлекала меня. И вот что я буду делать в Петербурге? Я должен скоро и решительно, не развлекаясь ничем, устраивать свои дела. А если я явлюсь в Петербург не женихом, я буду увлекаем в женское общество своею потребностью; что же выйдет? То, что я буду заниматься двумя делами — работою и женским обществом, если угодно — волокитством и мыслю о волокитстве, т.-е. это у меня будет не волокитство, а потребность любви и отыскивание любви. И любовь помешает работе. Да еще на меня станут иметь виды господа, имеющие дочерей и т. п. Устою ли я против их увлечений, сам увлекаюсь своим сердцем? Нет. И я буду гоняться за двумя зайцами, и одного — работу — упущу. Да и какой мой характер? Разве я не бездельничаю вообще все время, когда мне нет решительной необходимости работать? Следовательно, у меня должна быть необходимость работать и окончить, устроить свои дела быстро и скоро. Что ж может заставить меня работать, не теряя времени? Только одно: «Я имею невесту, которая ждет меня, и должен поскорее устроить свои дела так, чтобы она была моею женою». Кроме этого я ничего не вижу, что бы могло меня заставить не терять времени в пустых работах. Настояния со стороны, напр., Срезневского? Э, боже мой, да я у него могу нахватать разных сотрудничеств, так что мои собственные дела будут постоянно отлагаться. Да, он бы настаивал, а я пошел тянуть. Я не могу кончить работы



иначе как тогда, если мне дан срок, к которому я должен ее кончить; так, напр., и мой словарь никогда не был бы отделан, если бы не решительная мысль ехать в Петербург в декабре. А уехал ли я? Нет. Итак, я должен быть женихом. Вот невеста. Если уж этот случай не будет схвачен мною, какой может быть другой случай, столь прекрасный, столь счастливый, столь понудительный?

Хорошо. Я, положим, поеду в Петербург. Там года два не устрою своих дел, как должно, если не буду принужден к этому необходимостью. В эти два года я постарею много, истрочу лучший пыл сердца, сделаюсь расчетливее в выборе. Да и кто мне понравится после нее? И вот сколько лет пройдет у меня! Бог знает сколько! И вот мне 32 года, и вот я должен жениться на 25-летней отцветшей девушке, и вот мне 50 лет, а мои старшие дети еще мальчики, еще девочки. А я хочу свежей любви, а я хочу долго любоваться, наслаждаться молодостью жены. Да и какие девицы в Петербурге? Вялые, бледные, как петербургский климат, как петербургское небо. Нет, я не хочу их. Да у них будет семейство тут, да у моей жены, если она из Петербурга, будут различного рода матери, тетки, братцы и т. д. — я их не хочу. Я не хочу, чтоб [у] нас был кто-нибудь, кроме меня и моей жены, чтобы ей надували в уши, что обыкновенно надувают в уши г-жи родственницы. Нет, моя невеста должна быть не из Петербурга.

Если не женюсь теперь, на ней, — когда же? Бог знает когда, вероятнее всего — никогда. Чтобы я женился, нужно подобный случай. А подобный случай требует подобной девицы. Найдется ли еще хоть одна такая на моем пути? Что же? Я должен буду отыскивать в Петербурге бледную, вялую, золотушную, чахоточную красавицу. Или ехать в качестве кандидата в женихи в Саратов? Господи боже мой! Что это за чепуха! Я не должен опускать этого чудесного случая. Не должен, или я погиб. И я беру и благословляю руку, которая так доверчиво, так счастливо для меня протянута ко мне. Не найти мне подобной руки! Беру ее, благословляю ее!

О, да будешь ты благословенна, да будешь ты счастлива!  
(Это все писано в среду 4 марта.)

Продолжение. Пишу 5 марта в 12½ час. утра.

Мне должно жениться уже и потому, что через это я из ребенка, каков я теперь, сделаюсь человеком. Исчезнет тогда моя робость, застенчивость и т. д.

Наконец, мне должно жениться, чтобы стать осторожнее. Потому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою. Иначе почему знать? Разве я не рискну? Должна быть какая-то защита против демократи-

ческого, против революционного направления, и этою защитой ничто не может быть, кроме мысли о жене.

Итак, я должен необходимо жениться.

Должен ли я жениться на ней?

Об этом я уж говорил с одной стороны, с той стороны, что я и раньше нашего разговора в четверг 19 февраля чувствовал к ней сильную привязанность и думал, что для моего счастья необходима такая жена, как она.

Что будет, если я не женюсь на ней? Я никогда не смогу найти такого прекрасного существа, как она; мой выбор будет всегда несравненно хуже, чем тот счастливый случай, который представляется мне теперь. Потому что я знаю, что у меня нет ни довольно проныцательности, ни довольно опытности, чтобы предохранить себя от хитростей, обмана, наконец, самообольщения. Где мне искать, где кому-нибудь найти такую девушку? Такую чистую, такую благородную, такую умную, такую красавицу? Кто лучше ее из тех, которых называют здесь красавицами? Я во всяком случае не знаю, и верно никто мне не будет так нравиться.

Наконец, у меня есть еще одно желание — фантастическое желание, это может быть, но глубокое, давно уже зародившееся и все делающееся более и более сильным желание — не желание даже, а глубокая потребность, основанная на всем моем характере.

Я хочу любить только одну во всю жизнь.

Я не хочу, чтобы у меня были о ком-нибудь какие-нибудь воспоминания, кроме как о моей жене.

Я хочу, чтобы мое сердце не только после брака, но и раньше брака не принадлежало никому кроме той, которая будет моей женой.

Кроме того я хочу поступить в обладание своей женой, и телом не принадлежав ни одной женщине, кроме нее. Я хочу жениться девственным и телом, как будет девственна моя невеста; для этого я должен жениться скорее, потому что я слишком долго не могу удержаться целомудренным; я не хочу прикасаться к женщине, кроме своей жены. Поэтому уж я должен не медлить женитьбою.

А что теперь? Как ни говори, как ни уверяй себя, что то, что я чувствую к ней, еще [не] любовь, — все-таки это любовь.

Да не в названии дело, дело в том, что глубже чувства, которое внушает она мне, я не испытывал, и что это чувство так глубоко, что воспоминание о нем никогда не пропадет из моего сердца. И в объятиях жены, если это будет не она, я буду припоминать: «А было время, мое сердце принадлежало другой! Друг мой, я не всю свою жизнь, не всю свою душу отдал тебе! Часть жизни моей души принадлежит не тебе! Не ты моя первая любовь». Это будет мне мучительно. Я буду ревновать себя за свою жену к О. С., к моей первой любви. Я этого не хочу. Пусть у меня будет одна любовь. Второй любви я не хочу.

Все это весьма идеально, может быть весьма смешно, но что ж делать? Мало ли есть в моем характере такого, что для других должно казаться смешным и от чего все-таки я не могу и не хочу освободиться.

Так, так, будь ты моей единственной любовью, если только это возможно, если только ты согласишься!

(Должен сказать, что я пишу это несколько не разгоряченный, — да и от чего мне разгорячаться? Уж шестой день, как я не видел ее, а что теперь имеет на меня какое-нибудь влияние, кроме ее присутствия?)

Итак, я люблю ее. Я не надеюсь найти другую, к которой бы я мог так сильно привязаться; я даже не могу представить себе, никак не могу представить себе, чтобы могло быть существо более по моему характеру, более по моему сердцу, чтобы какой бы то ни было идеал был выше ее. Она мой идеал, или скажу просто: я не в состоянии представить себе идеала, который был бы выше ее, я не могу даже вообразить себе ничего выше, лучше ее. Она мой идеал, но идеал не потому, чтобы я идеально смотрел на нее: я вижу ее, как она есть, я не украшаю ее в моем воображении, нет — потому что в ней все, что может быть лучшего, все, что может пленять, обворожать, заставить биться радостью и счастьем мое сердце.

Это женщина, с которою я буду счастлив, как только могу быть счастлив от женщины. В ней мое счастье, в ней.

Она выбирает меня — значит, она думает найти во мне свое счастье. Это всего важнее, без этого я никогда [бы] не решился для своего счастья рисковать ее счастьем. Она думает быть счастлива со мною — хорошо; если так, я [не] колеблюсь.

Потому что у меня одно колебание: будешь ли ты счастлива со мною; что я буду счастлив с тобою, об этом нечего и толковать, как нечего толковать о том, что днем на небе бывает солнышко.

Вот мои мысли (конечно, кроме мысли, что она выберет меня, примет мою руку) при начале разговора с ней. Я не сознавал ясно, но я чувствовал ясно, что мой разговор, к которому я готовился в пятницу и который я начал в четверг, кончится с моей стороны тем, что я сделаю ей предложение.

Я хотел его сделать, я готовился к нему.

Но раньше я должен был, как честный человек, высказать ей мои сомнения в том, должна ли она соединить свою судьбу с моею.

Я сделал это. Потому что — как угодно, а в сущности я честный человек, и я правду говорю, когда говорю перед собою и повторяю ей:

Твое счастье для меня дороже моей любви.

Тяжело было для меня говорить так, как я говорил с нею. Вместо любви, вместо восторга, вместо языка жениха — язык человека, который говорит: пожалуйста не решайтесь выходить за меня замуж!

Чем бы это могло кончиться? Этот разговор мог бы быть смертным приговором для моего счастья.

Но я все-таки начал этот разговор и высказал все, что должен был высказать.

Я поступил, как честный человек.

И она выслушала этот грубый язык, она выслушала его и поняла мои речи в их истинном смысле, не оттолкнула меня за мой грубый совет «откажитесь от мысли быть моей женой».

Она поняла, что я говорю, как честный человек, что я говорю это не для того, чтобы мне хотелось заставить ее оттолкнуть меня, — что было бы тогда со мною, я не знаю, — а потому, что я должен был сказать ей, за кого она выходит.

Она поняла, что я не ломаюсь, что я говорю искренно, по чувству обязанности сказать все, а не потому, чтоб хотел отказаться от ее руки. Кто б понял это? Она поняла!

Кто б не оскорбился этим? Она не оскорбилась!

О, как это возвысило мое уважение к ней! О, как это возвысило мою уверенность в том, что я буду счастлив с нею и что она не будет несчастна со мною!

Я не знаю равной тебе! Ты согласна — я счастлив!

Да будешь ты счастлива!

Да будет у меня одно счастье в жизни — счастье тем, что ты счастлива!

Моя жизнь будет посвящена твоему счастью.

Я пишу это совершенно холодно. Я теперь далек от всякой экзальтации, от всякого преувеличения. Я спокоен, я говорю мысль, которая никогда не покинет меня, потому что она имеет источником мой характер и мое знание себя, а не какую-нибудь горячность.

Я рассуждаю о моих чувствах, я теперь не увлекаюсь ими.

Насколько твое счастье зависит от меня, от моих сил, от моей безграничной преданности, ты будешь счастлива!

5½ час. вечера, 5 марта, четверг.

Начинаю писать свои размышления о ней.

Первый, самый главный, единственный вопрос, от которого разрешения зависит мое счастье, это вопрос, которого я стыжусь.

Не играет ли только мною она? Я решительно говорю: нет.

Но я человек мнительный и должен записать свои сомнения. Чтоб и впоследствии мог бы видеть, что я не увлекся, не ослепился, а действовал по совести и рассудку, конечно движимый сильным, глубоким, нежным, но вовсе не слепым чувством.

Я пишу их и из ненависти к этой глупой стороне моего характера — мнительности, робости, опасению встретить противодействия, несчастья, горе, неприятности там, где их вовсе нет и не может быть. Эта сторона моего характера должна быть безжа-

лостно казнена, и я казню ее страшным образом, выставляю на неизгладимый позор этим записыванием.

Стыдись, малодушный (вот истинное название для меня)!.. Стыдись, малодушный, своего глупого малодушия — вот оно выставляется тебе самому на показ, чтоб ты мог после, когда будешь продолжать борьбу с этою гнуснейшею, подлейшею, наконец, вреднейшею стороною своего характера, который, скажу без самохвальства, был бы безукоризнен, если бы в нем не было этой стороны, — чтоб тогда ты мог видеть ее на бумаге неизгладимо заклейменною тем самым, что она выставлена целиком, как есть, без всяких прикрас и преувеличений. — Ты увидишь ее, и она будет поражена всякий раз, как ты посмотришь на ее изображение во всей ее гнусности.

Мне тяжело, — о, как тяжело писать то, что я буду писать, — но я напишу все. Я казню себя тем, что пишу. Я не щаю никого, потому что озлоблен против себя тем, что во мне есть такая гнусность; тем более не пощажу своей гнусности, этого источника моего ожесточения.

Пусть, когда рассеются мои глупые сомнения, когда мне придет охота отказаться от них, у меня на бумаге [останется] неизменяемое доказательство того, как я был глуп со своими опасениями, и тогда я буду всегда иметь право сказать себе, если бы начались снова подобные опасения: Посмотри, как был ты глуп — ты и теперь будешь так же глуп, если не подавишь своих глупых сомнений.

Сомнения были во мне — не против нее — нет; в отношении к ней у меня не было сомнений, не было подозрений, оттого что она слишком благородна и пряма, чтобы у нее могли быть от меня тайны, когда она увидела, что со мной не нужно иметь тайн. Нет, не против нее, а сомнения относительно моих житейских, служебных, литературных, политических отношений. Сомнения против нее — они и теперь нелепы; я и теперь не обращаю внимания на них, а после, если я буду так счастлив, что блаженство жить для нее будет моим уделом, — после у нас не будет никаких недоразумений; я буду знать о ее жизни, о ее чувствах ко мне и к другим, о всех ее отношениях все, что заслуживает быть известным, все, что имеет хоть малейшую важность для меня или для нее.

Опять какой горячий язык, — а ведь я пишу совершенно спокойно! Я пишу так же спокойно, как говорю: «Солнце освещает землю» — что ж делать, что о солнце нельзя не употреблять сильных выражений, как бы спокойно ни говорил о нем; что же делать, что о ней нельзя не писать величественных, торжественных мыслей, как бы холодно ни писал. Она сама виновата в том, что самые спокойные, холодные размышления о ней, излагаясь как нельзя проще и спокойнее, все-таки имеют какой-то возвышенный характер. О возвышенном самые холодные мысли возвышенны.

Играет ли она мною? И я думаю это! Нет, я не думаю это, а в моей малодушной гнусной фантазии есть гнусные эти мысли, и я их выдаю на позор.

Может быть, — клеветает на нее мое необузданное малодушие, — она просто видит в тебе простяка, который без памяти влюблен в нее и с которым она может делать, что ей угодно — ведь это дар божий! Ей хочется выйти замуж. Она имеет надежды, что, может быть, посватает ее кто-нибудь, кто кажется ей лучше тебя, напр. Палимпсестов. Но как девушка весьма умная, видит, что это не легко; может быть это будет, может быть это и не будет. А ей хочется выйти замуж поскорее. Ну, вот она и взяла тебя про запас — будет приискивать себе женихов, увидит, что нет возможности выйти ни за кого, кроме тебя, — «ну, нечего делать, пойду за этого глупенького простячка», — ведь ей весьма несносно жить в доме — «он все-таки избавит меня от матери, а там, когда выйду за него, посмотрим, что будет».

Низко, брат, низко, стыдись этих мыслей.

Иду пить чай. Буду продолжать по возвращении.

Продолжаю 6 марта, пятница, 9 часов утра.

«Плохо, если не найду никого; нечего делать, тогда пойду за этого простячка. Он мне вовсе не нравится. Что ж такого? Можно будет жить и с ним, потому что он будет моим лакеем. Я буду им управлять. Он мне не будет мешать ни в чем, я с тем и пойду, и так буду держать его, чтобы он не смел ревновать и, одним словом, все-таки жить с послушным мужем лучше, чем жить с нетерпящею меня матерью». (Это я хватил уже чересчур — я излагаю в этих строках свои сомнения яснее и резче, чем они представляются мне.)

Итак, я игрушка ее, я запасной дворянин, я лицо, о котором говорится в пословице: «за неимением маркитанта служит и булочник» \*.

Но положим, что, наконец, и не найдется другого жениха. Она выйдет за меня. Что тогда будет? Она будет вести себя так, как ей вздумается. Окружит себя в Петербурге самую блестящую молодежь, какая только будет доступна ей по моему положению и по ее знакомствам, и будет себе с ними любезничать, кокетничать; наконец, найдутся и такие люди, которые заставят ее перейти границы простого кокетства. Сначала она будет остерегаться меня, недоверять мне, но потом, когда увидит мой характер, будет делать все, не скрываясь. Сначала я сильно погорюю о том, что она любит не меня, потом привыкну к этому положению, у меня явится *résignation\*\**, и я буду жалеть только о том, что моя привязанность пропадает неоцененная, т.-е. зная ее она будет, но будет считать

\* Это слово не совсем разборчиво. Может быть, блинник. *Ред.*

\*\* Самоотречение.

ее не следствием нежности и привязанности и моих убеждений о праве сердца быть всегда свободным, а следствием моей глупости, моей ослиной влюбленности. И у меня общего с ней будет только то, что мы будем жить в одной квартире и она будет располагать моими доходами.

Я перестану на это время любить ее. У меня будет самое грустное расположение духа. Но быть совершенно в распоряжении у нее я не перестану. Только в одном стану я тогда независим от нее: некоторую часть денег я буду располагать сам, не передавая их ей — буду употреблять ее на посылки и подарки своим родным. Что будет после? Может быть ей надоест волокитство, и она возвратится к соблюдению того, что называется супружескими обязанностями, и мы будем жить без взаимной холодности, может быть даже, когда ей надоедят легкомысленные привязанности, она почувствует некоторую привязанность ко мне, и тогда я снова буду любить ее, как люблю теперь.

Ну, это до крайности нелепо. Эти мысли оскорбительны для нее, недостойны меня. Я знаю, что они глупы, совершенно ложны. Что этого никогда не будет. Будет она любить меня или просто будет чувствовать только некоторую благодарность мне за мою привязанность, но вертопрашничать она не будет. Но если бы я был решительно уверен, что так будет — что бы я сделал? Я знал бы, что через брак с ней буду несчастлив, но я не отступил [бы] от своего обязательства, и если бы даже она сама мне сказала: «Я выхожу за тебя только для того, чтобы пользоваться совершенною свободою делать, что мне угодно, любезничать со всеми, с кем захочу», — я все-таки сказал бы: «Как вам угодно, так и живите, я сказал, что повенчаюсь на вас, и прошу вас ехать в церковь венчаться. Пусть будет, что будет. Я готов на все. Вам угодно, чтобы я был вашим мужем — я готов. Вы будете моею женою и будете совершенно свободны».

Из чего же возникают мои сомнения? Из моего характера прежде всего. Мне нужны слишком ясные доказательства, что мною не пренебрегают, что я не надоед, что я не противен. Мне всегда кажется, когда, напр., я сижу у кого-нибудь или кто-нибудь сидит у меня, что он со мною скучает, что я пришел не вовремя и т. д. Мне трудно убедиться в том, что я на своем месте, что я в хороших отношениях к кому-нибудь. Но этот повод скоро уничтожится, если она в самом деле будет привязана ко мне. Напр., убедился же я, что Николаю Ивановичу я не мешаю, что он не пренебрегает мною; точно так же и относительно Евгения Александровича, Чеснокова, Малышева и т. д. Следовательно, за это нечего бояться, это пройдет весьма скоро, вероятно, раньше моего отъезда в Петербург весною.

Другой источник — мне говорят (Палимпсестов): «Она истаскана (конечно, сердцем), она растеряла свои чувства и уже неспособна любить». Это и теперь на меня не действует, потому что



я ставлю себя выше других и их мнения для меня не имеют никакого веса. Я способнее, чем они, понимать таких людей, как О. С.; странно было бы, если бы религиозные мнения Николая Ивановича или Анны Никаноровны имели хотя малейшее действие на меня. — я выше по ясности взгляда, я лучше их понимаю эти вещи, и что они говорят мне, заставляет меня только одобрительно улыбаться: «Друзья мои, вы ничего тут не понимаете, вы городите страшную чепуху». То же самое, только в гораздо большей степени, и с этими толками о том, что она истаскана, что она растратила чувство. «Милые мои, вы говорите благородно, предупреждая меня, что вам кажется вот как. Но вы в сущности люди с грязною душою, вы не можете понимать, что такое за разница между любезничаньем, которое не касается до сердца, и между сердечною привязанностью. Вы неспособны понимать ее. Неужели вам кажется, что она любит кого-нибудь из тех, с кем любезничает, кому кружила головы? Если хотите, она любит так, как любит, напр., тебя, мой милый Федор Устинович, Елена Васильевна Акимова — но вот видите, О. С. решительно другой человек — ее сердце не истощено этими чувствами, она гораздо выше, и ее сердце остается совершенно девственным. Ее любовь еще впереди. Меня она полюбит или другого, я не знаю. Может быть и не найдет она человека, которого любила бы истинною любовью, который бы занял место, в самом деле, в ее сердце. Но дело в том, что ее сердце до сих пор еще девственно. И что касается, напр., до тебя, мой милый, мой благородный друг, Федор Устинович, ты не можешь себе представить, как мне смешно было слушать, когда ты говорил, что Елена Васильевна тебе нравится, а О. С. не может нравиться, что у Ел. Вас. милое кокетство, а у О. С. кокетство, которое было бы отвратительно, если бы она не была так умна, и что в Ел. Вас. ты был влюблен, а О. С. никак не могла тебе нравиться; это, мой милый, препотешно было мне слушать после того, как ты говорил о том, что у О. С. истощенное сердце, а у нас с тобою девственное сердце; нелепо, мой милый, потому что, во-первых, напрасно, значит, ты говоришь о девственности своего сердца: ты, мой милый, не понимаешь, что такое девственность сердца; но еще потешнее видеть, что ты не понимаешь разницы между Ел. Вас., пустенькой, глупенькой и поэтому пошленькой девчонкою, которая была и будет пошленькой вертопрашницею, и между таким возвышенным существом, как О. С., существом с такою глубокою и благородною натурою. Смешно (и в самом деле мне было смешно, хотя мне вовсе не до смеха, как скоро дело касается отношений и чувств О. С. ко мне), весьма смешно! Дай тебе бог здоровья, ты честный человек, но — извини — ты решительно глупый и пошлый человек, и эти слова, мой милый Фед. Уст., увы, остаются без всякого действия на меня! Мой милый, напрасно ты трудился, хотя я благодарен тебе за твои честные, благородные усилия просветить меня. Извини — мне стыдно так сказать о человеке, который показал мне истинную дружбу, но *amicus Plato, amicus Socrates, sed magis*

*amica veritas*\* — ты решительно похож на свинку, которая доказывала бы человеку, что напрасно он ест апельсины, что жолуди гораздо лучше ей нравятся. Славный ты человек! Но не дал тебе бог способности понимать многого на свете. И есть натуры, которые выше тебя, напр., хотя и О. С., и о них ты, мой милый, не судья. Ты производишь на меня то же впечатление, как человек, который стал бы говорить мне, что Вольтер, Луи Блан и Прудон, Искандер и Гоголь ему не нравятся, потому что слишком много в них цинизма, а что Булгарина и Масальского читает он с большим удовольствием.

Но теперь гораздо важнее. Теперь мои собственные сомнения, которые кажутся мне, конечно, неосновательными, но, наконец, нуждаются в самом деле в разъяснении. И я не знаю, весьма вероятно, что я даже буду говорить о них с О. С. Я знаю, что это не так, как мне представляется, но, наконец, мне в самом деле представляется это. Наконец, в самом деле во мне есть эти мысли.

«Не хитрит ли она со мною? Не увлекает ли она меня обдуманно, не предполагает ли она, что я могу не сдержать своего обещания приехать сюда как можно скорее сватать ее, не хочет ли она заставить меня жениться на ней до отъезда моего в Петербург?»

Если так, зачем не сказать это прямо? Тогда я представляю свои возражения. Если она не убедится ими, я сделаю, как ей угодно. Об этом должно поговорить с ней. Я начну: «О. С., как вы думаете, я хитрю сколько-нибудь с вами? Вы не уверены сколько-нибудь, что я в самом деле совершенно в ваших руках?» и потом разговор пойдет, как приведется. Может быть приведет он меня и к тому, что я спрошу ее: «А вы не хитрите со мною?» и попрошу ее выслушать мои сомнения.

Зачем она говорила мне о двух своих женихах, харьковском (250 душ) и киевском (1 000 душ)? В действительном существовании первого я не сомневаюсь. Но второй не придуман ли впоследствии для эффекта? Мне что-то несколько подозрителен этот киевский жених. Действительно, несомненно, что там ухаживал за ней какой-нибудь молодой богатый человек. Но хотел ли он приехать сюда, чтобы ее сватать? Не просто ли это сказано для того, чтобы сказать мне другими словами: «Женись на мне теперь, потому что, если отложишь до зимы, то я выйду за другого!» И отчего это «женись теперь»? Оттого ли, что ей хочется поскорее вырваться из своего семейства? Это еще весьма естественно, и даже хитрость ее в этом случае не имеет ничего дурного. Но не происходит ли это от мысли: «Кто тебя знает, удержишь ли ты свое слово приехать? Я должна ковать железо, пока оно горячо». — Если так, я скажу ей в первый раз — и в последний раз, потому что это единственный случай, в котором я должен сказать ей

\* Друг Платон, друг Сократ, но еще больший друг истины.

«нет», — подобного другого случая не может быть; я скажу ей: «Нет, если вы так мало верите искренности и серьезности, и прочности моей привязанности, вам рано выходить за меня. Должно подождать. Я рискую страшно, но должен раньше рисковать. Я уеду, не женившись на вас. Что я приеду за вами, вы увидите. Я рискую. Потому что, если так мало вы надеетесь на прочность моей привязанности, вы не станете дожидаться меня и, если представится случай, выйдете за другого. Но что ж делать, я лучше готов пожертвовать своим счастьем (я пишу это для себя, потому пишу, как думаю, и пишу все, что думаю — тут нет испытания для нее, тут есть только то, что я пишу), чем связывать вашу судьбу с моей, пока мои обстоятельства еще не устроены, и заставлять вас или нуждаться, или содержать меня на свои деньги несколько месяцев».

То, что говорила она, будто бы, Бусловской, что в половине поста она дает слово или мне, или Яковлеву, нисколько на меня не действует. Это что-нибудь не так.

Ну, теперь мои сомнения относительно ее кончены. Теперь перехожу к другим мыслям.

И, во-первых, о моих отношениях к папеньке и маменьке. Что может быть из моего сватовства? Согласятся ли они, чтобы я сватал ее? Может быть ее дурная репутация слишком хорошо известна им, и не согласятся. Если будет решительное несогласие, я уж написал, как я поступлю. Одним словом, они меня не остановят, потому что я не хочу их слушать в этом случае. Но прав ли я буду перед ними? Вот другой вопрос. Я сильно огорчу их. Это так. Но это меня не колеблет. Пусть огорчатся, это будет прискорбно для меня. Но что ж делать? Это такой случай, что слишком большая деликатность вовсе тут не у места. Не об огорчении дело, а о том, прав ли буду перед ними, вправе ли я не слушаться их?

Когда предлагаются подобные вопросы, ответ известен: я вправе так сделать. Вправе ли я, или нет так сделать, но я твердо убежден, что вправе, и вот почему:

Они не судьи в этом деле, потому что у них понятия о семейной жизни, о качествах, нужных для жены, об отношениях мужа к жене, о хозяйстве, образе жизни решительно не те, как у меня. Я человек совершенно другого мира, чем они, и как странно было бы слушаться их относительно, напр., политики или религии, так странно было бы спрашивать их совета о женитьбе. Это вообще. В частности: они совершенно не знают моего характера и того, какая жена нужна мне. В этом деле может быть судьбою, мог бы быть напр., — ищу, ищу и не найду, потому что никто не может войти в мой характер и в мои понятия, кроме меня самого. — Может быть со временем, когда решительно убедится в том, что я действительно таков, как изображаю ей себя, только О. С. Это все равно, что советоваться с ними, напр., о своих отношениях к Ал. Никол. Пасхаловой. Они тут решительно ничего не понимают. А от этого дела зависит мой мир с самим собою и — веро-

ятно — мое счастье. Какие же тут советы от людей, положим весьма любящих меня, но которым, решительно, нельзя растолковать ни того, что такое О. С., ни того, что такое я, ни того, какова должна быть, по моим понятиям, жена. Этого мало. У меня к О. С. решительно особые отношения, которые понять могут только весьма немногие, напр. А. Ник. Пасхалова (я думаю, и Ник. Ив., хотя не совсем), а уж вовсе не маменька. Но если бы, напр., моя маменька была и такова, как Анна Ник., т.-е. если бы ей можно было объяснить и если бы она могла сочувствовать этим отношениям, то и тут: разве эти отношения таковы, что могут быть рассказаны кому-нибудь? Нет, им не вправе я рассказывать, Ольге С. и то не должно, потому что они слишком странны, а я не вправе, я был бы подлец, если бы высказал бы хоть один намек на них кому бы то ни было. «Она хочет выйти за меня» — как хорошо рассказывать эти отношения! А эти отношения — одно из самых главных обстоятельств и без них ничего нельзя понять. Следовательно, я не могу, не смею, не вправе советоваться с кем бы то ни было, тем более с людьми, которым чужды все понятия, все отношения этого дела. Я был бы подлец, если б стал советоваться.

Мне не должно советоваться, наконец, и для того, чтоб не лицемерить более перед собою и перед ними. Разве я послушаюсь их мнения? Да, в сущности, разве я не делал всегда так, как мне казалось нужным, а всегда только прикрывался их волею. «Как вам угодно, так и я сделаю». — «Я сделал так потому, что мне казалось, что вам так угодно», а в самом деле делал так, как мне было угодно. К чему это лицемерие? Оно гнусно, оно лживо. Пора его бросить.

Пора, наконец, перестать выставлять себя мальчиком, который все спрашивается — «что прикажете?», а сам делает, вовсе не обращая внимания на приказания. Пора действовать прямо и самостоятельно, как действуют все другие.

Но я все-таки чувствую некоторое сожаление, что я не могу им высказать свои намерения, т.-е. сказать им, что О. С. мне весьма нравится, что, если будет можно, я приеду из Петербурга просить ее руки, но что, конечно, я не знаю, даст ли она ее мне. Мне тяжело скрываться от них. Но что делать? Не могу я сказать этого, потому что это слишком рано. Это значило бы толковать о том, что еще слишком неверно. Потому что разве я уверен, что она выйдет за меня, а не за другого? До тех самых пор, как я поеду из Петербурга в Саратов, или во всяком случае до тех самых пор, как я поеду в Петербург весной, я не должен говорить ни одного слова. Одним словом, дело находится в таком положении, что пока должно быть еще тайною. Я не имею склонности скрытничать. Скорее я болтушка. Но что делать? Тайну я должен хранить, когда ее должно хранить.

Но я буду виноват перед ними, что огорчу их, потому что этот выбор вероятно не понравится им?

В одном я почти совершенно уверен, — что мысль «не понравится», покажется «слишком верченою, слишком кокеткою», что эта мысль одно из тех нелепых произведений моей фантазии, которые рождает она в таком огромном количестве. Скорее понравится. Гораздо скорее. А если не понравится? Что ж делать, должен отвечать обыкновенною фразою: «Не вам жить с нею, а мне». Что делать? Не я виноват, что вы слишком мало полагаетесь на меня, что вы (особенно маменька) слишком самонадеянны, так что вам непременно кажется только то хорошо и рассудительно, что делается по-вашему; что делать? Кто виноват, что вы никак не хотите понять, что могут быть лица, понятия, отношения, которые чужды вашему кругу понятий. Вы слишком самонадеянны, так что же мне делать? Не пожертвовать же своим счастьем и своею честью вашей самонадеянности».

Наши приехали от обедни. Кончаю писать. Примусь после обеда. Теперь 12 часов.

Через несколько минут. До обеда могу посидеть в своей комнате, потому что маменька занята разливанием чаю, которого я пить не хочу.

Я создан для повиновения, для послушания, но это послушание должно быть свободно. А вы слишком деспотически смотрите на меня как на ребенка. «Ты и в 70 лет будешь моим сыном и тогда ты будешь меня слушаться, как я до 50 лет слушалась маменьки». Кто ж виноват, что ваши требования так велики, что я должен сказать: «В пустяках, в том, что все равно, — а раньше этими пустяками были важные вещи, — я был послушным ребенком. Но в этом деле не могу, не вправе, потому что это дело серьезное. Нет-с, тут я уж не тот сын, которого вы держали так: «Милая маменька, позвольте мне съездить к Ник. Ив.» — «Хорошо, ступай!» — «Милая маменька, позвольте мне съездить к Анне Ник.» — «И не смей ездить, это гадкая женщина». Нет, в этом деле я не намерен спрашиваться, и если вы хотите приказывать, с сожалением должен сказать вам, что напрасно вы будете приказывать».

«Я мужчина, наконец, и лучше вас понимаю, что делаю. А если станете упрямитесь, — извольте, спорить я не стану, а убью себя». Посмотрим, что тогда будет. И если будет необходимость, я исполню свою угрозу, потому что лучше умереть, чем жить бесчестным в собственных глазах или рассорившись с теми, кого люблю, с теми, которые, наконец, сами любят тебя, только слишком странны со своими претензиями на всезнание и безошибочность своих понятий о людях и о том, что «так, а не так должно тут поступать». Но само собою, этого никогда не будет. Много, много, если скажет маменька: «Я не хотела бы; я думаю, что она не составит твоего счастья». — «А я думаю». — «Ну, как хочешь». А папенька ничего и не скажет. А всего вероятнее, что она им понравится и что дурные слухи не остановят их. Во всяком случае, я входить

в рассуждения не буду, скажу просто: «Я лучше вас знаю ее и себя. Согласны вы или нет?»

Боже мой! Что за дикая фантазия! Что за странное свойство ожидать везде сопротивления и неприятностей! Что за странное свойство постоянно готовиться к страшной ссоре с людьми, которые никогда и не думали с тобою ссориться! Что за петушиная храбрость (петушиная — потому что вовсе не представляется случая выказать ее, а не потому, что я не выдержал [бы] себя так, как думаю выдержать — случая-то нет!)? Что за смешное расположение духа везде ожидать или оскорбления, или несогласия? когда весьма согласны и весьма рады! Но буду продолжать. Ведь должен же излагать свои мысли.

Что будет в самом деле, если они будут недовольны моим выбором? Я уверен, что скоро увидят, что я не ошибся, и скажут, что ошибались, не одобряя раньше моего выбора. Потому что источник несогласия может быть только один — если им покажется, что она не составит моего счастья. А они увидят, что я счастлив, и их предубеждения исчезнут. И дело скоро кончится решительным примирением со мною. А если она скажет: «Я не хочу, потому что не нравлюсь вашим родным»? Тогда снова за то же: «Вы должны просить ее выйти за меня». Если она не пойдет, снова то же: «Вы расстроили, извольте устроить, или я не буду жив». — Но это будет роль унижительная для них? Нет, она с ее благородством не потребует от них ничего унижительного. Только маменька должна будет сказать ей: «О. С., будьте моей дочерью. Я буду любить вас не менее, чем люблю сына». Тут унижительного ничего нет. А если маменька не согласится! Как угодно, после не жалейте обо мне, вы, значит, сами хотели моей смерти, сами накликали, так не пеняйте на других. Я не виноват.

Теперь кончено в отношении к родным. Иду вниз смотреть, что делается. 35 мин. 1-го.

Продолжаю после обеда. 2 часа.

Я прав перед родными во всем. В одном только несправедлив я: маменька любит меня всюю силою души — а вот является чужая мне до сих пор, которая и не говорит даже, что любит меня, — а я люблю ее так, что привязанность к маменьке совершенно ничтожна перед любовью к ней. Какое право имею я любить ее более маменьки? Где тут справедливость? Тут нет справедливости. Что делать! Любишь больше не тех, кого больше должен любить, а тех, кого более любишь!

Перехожу к ее вероятным отношениям к моим родным.

Маменьке будет не совсем сначала нравиться свобода ее обращения, особенно с молодыми людьми. Но скоро маменька увидит, что здесь ничего дурного нет, что это не грозит мне никаким несчастьем, и примирится с этим. Ей может быть не будет нравиться ее любовь к свету. Но она говорит, что этой любви к выездам и нарядам у нее нет. Не знаю. Может быть она сама ошибается. Но и с этим маменька скоро помирится, когда увидит, что она не



живет выше своих средств (своих средств — потому что мои деньги будут ее деньги). А за все остальное маменька не может не полюбить ее. Особенно она полюбит ее за то, что я в самом деле от души привязан к ней, что я счастлив ею. Потому что мое счастье, наконец, выше всего для маменьки. И как ее не полюбить! Дурные слухи будут доходить до маменьки. Но она увидит их несправедливость и не будет обращать на них внимания, когда увидит, что мне все это известно весьма хорошо, что она ничего не скрывает от меня и что я в самом обыкновенном, самом спокойном состоянии духа, всегда только радуясь на нее, вполне полагаясь, ни в чем не подозреваю ее; когда маменька увидит, что она в самом деле привязана ко мне. А ее отношения к маменьке? Конечно, она будет прекрасною дочерью. Если уж с своею матерью, которая ее ненавидит, она так хороша, тем более она будет хороша с моею маменькою, в которой увидит готовность любить ее более всего на свете, как источник моего счастья.

Одним словом, я не сомневаюсь даже в своей необузданной малодушной фантазии, что маменька будет любить ее, что она будет самою лучшею дочерью для маменьки и что она полюбит маменьку, или если не полюбит, то будет весьма хороша к ней и благодарна ей за ее любовь, на которую будет отвечать всевозможною предупредительностью и внимательностью. Таков уж ее милый, добрый характер. А папенька? Папенька, конечно, будет радоваться на нее, потому что на папеньку угодить гораздо легче, он гораздо мягче, нежнее, чем маменька. Папенька никогда никому не был помехою. У него характер чрезвычайно мягкий и нежный, в сущности едва ли не более, чем у меня. Одним словом, она найдет в моих родных самых лучших родных, какие только могут быть. И все наше семейство будет счастливо через нее. А если маменька захочет ехать с нами в Петербург? Должен буду отвечать, что теперь еще нельзя. Одну — и едва ли не главную в самом деле причину — я ей скажу: должно подождать, пока устроятся наши денежные дела и пока мы будем в состоянии как должно успокоить ее в Петербурге. Другая причина должна быть для нее всегда тайною: раньше, чем явится маменька жить с нами, наши отношения с О. С. должны быть уже установлены, чтобы она нашла их уже решительно определенными, твердыми и не могла иметь никакого влияния на них. Потому что, по моему несомненному убеждению, которое я не хочу нарушать ни в каком случае, никто, как бы он ни был близок, как бы он ни любил, не должен иметь влияния на отношения между мною и моею женою. Тут закон — воля моей жены и исполнение всего, что только может быть исполнено при моем характере и моих средствах.

Когда мы совершенно устроимся, тогда милости просим. Мы будем весьма рады. Тогда, наконец, и папенька может быть переедет к нам. Но это едва ли возможно. Он не захочет. И маменька будет у нас только гостьей и скорее всего будет, что она не приедет к нам первая, что мы через два года после своего отправления в Петербург приедем в Саратов.

А наш образ жизни в Петербурге? Здесь одно только сомнение — довольно ли я буду получать денег? Работать я буду как нельзя больше, насколько у меня достанет сил. А сил у меня достанет на 15 часов в сутки. Странно было бы, если бы я не имел возможности получать 2 000 р. сер. в первый же год после нашей свадьбы. Мы будем жить вероятно одни. Брат и Иван Григорьевич<sup>229</sup> не будут жить с нами. К чему? Впрочем, это зависит от нее. Если мы будем жить одни, тогда наш бюджет составит таким образом — смотри записку, которую я составил раньше, отмеченную знаком БЖ<sup>230</sup>.

Квартира из 4 комнат: зал, ее комната, моя рабочая комната, нечто вроде спальни или столовой, — одним словом, не приемная комната. Квартира эта будет выходить на улицу, с порядочным подъездом; вероятно, она будет на Петербургской стороне, если там будут у меня уроки, или, если уроки в Пажеском корпусе, то где-нибудь на Фонтанке — 20 р. сер. в месяц. . . . . 240 р.

В ней будут 2 печи и 1 в кухне. Дров будет выходить в зиму на наши печи 7 сажень, по 8 сажень на кухню, всего 15 саж. по 4 р. сер. — 60 р.; за воду и другие мелкие расходы различного рода 3 р. сер. — 35 р. сер., всего . . . . . 95 р.

Освещение. Обыкновенно 2 стеариновые свечи на зимние вечера, по 2 ф. в неделю, в 6 летних месяцев, всего 24 ф. в летние месяцы, 14 ф. в зимний месяц = 84 ф. + 24 = 108; 30 раз зимою общество, когда 2 лишние свечи, 15 ф. и т. д., всего положим 140 ф. по 10 р. пуд — 35 р.; в кухне и передней 5 ф. в месяц сальных 5 р. сер., всего. . . . . 40 р.

Прислуга. Женщина, которая может быть горничною для нее и кухаркою — 3<sup>1/2</sup> р. сер., 42 р. сер., и мальчик — всего . . . . . 70 р.

Белье для меня 1 р. в мес., для нее — 1 р. 50 к., всего 2 р. 50 к. в месяц; это составит с новой чернорабочей 3 р. сер. и (прислуга из 3 лиц) . . . 35 р.

Таким образом все вместе будет стоить, кроме ежедневных текущих расходов . . . . . 480 р. сер.

Положим для круглого счета . . . . . 500 р. сер.

Стол и чай. Сахар 6 пуд. — 60 р., чай 40 р. = 100 р.

Стол. Собственно кушанье — 50 к. сер. в день; булки и хлеб к столу — 15, молока на 10 = 25 к., всего 75 к. = 270 р. сер. в год; мелкие покупки к столу и закуска 80 р. в год = 350 + 100 р. чай 450 р.

Расходы совершенно необходимые: 10 р. в библиотеку для чтения для нее; кое-какие другие рас-

ходы в следующем роде, напр. бумага и письма  
40 р. сер. = . . . . . 50 р. сер.

Расходы собственно для меня: извозчики 5 р.  
в месяц = 60 р., платье 140 = 200 р. Всего . . . 1000 р. сер.

Театр. В оперу, если будем абонироваться в  
креслах — 80 р. сер., извозчики и мелкие расходы  
10 р. = 90 р. сер. (скорее, ложу пополам с кем-  
нибудь 50 р. сер. и тогда вместо 90—60), еще  
60 р. сер. на другие театры, театр . . . . . 150 р.

Итого — кажется все, кроме ее расходов . . . 1350 р. сер.  
если буду получать 1800 р. сер., — 450 р. на ее наряды и удо-  
вольствия.

О, если б так! Конечно так, потому что я считал все слишком  
не экономически. Можно все это делать гораздо выгоднее и вместо  
1 350 р. верно понадобится только 100 р. в месяц, 1 200 р. в год.  
Остальное, собственно, ее расходы. Но само собою и эти расходы  
совершенно зависят от ее воли.

Я думаю, что глупо было бы мне сомневаться в возможности  
получать 2 000 р. сер. в год. Но теперь обзаведение — вот задача!  
Главное и почти единственное — мебель. (Тут рояль — что делать  
с ним?).

Рояль 300 р. сер., — этот расход может быть отложен, если за  
ней будет рояль, или она может дать мне взаймы для его покупки.  
Другая мебель: в ее комнате: диваны 2 = 35 р. сер.; кресла (всего  
для всех комнат 12 по 10 р.) 120 р. сер. Столы: мой рабочий —  
20 р. сер.; 5 еще — 50 р.; ее гардероб — 20 р. сер.; другие шкапы  
20 р. сер. (ковров, если не будет у нее, отложим до приезда в Пе-  
тербург); другие диваны (3) — 45 р. сер.; стулья 18 = 30 р. сер.;  
всего 330 р. сер. Посуда 70 р. сер.; всего 400 р. сер. Боже мой,  
да у меня как гора с плеч свалилась — всего 400 р. сер., да и то  
еще предполагая все в изобилии. Поездка сюда 70 р. сер. Отсюда  
до Москвы 3 лошади — 74 р. сер.; из Москвы 26 р. сер. = 100 р.  
сер.; да различные расходы в дороге = 200 рублей сер. Свадьба —  
ну это уж дело постороннее; подарки, разумеется, если и на 200 р.  
сер., одежда моя 50 р. сер., всего 250 р. сер. Всего расходов  
по свадьбе 450 р. сер., да обзаведение 400 р., всего каких-  
нибудь 1 000 р. сер., и тогда можно будет все сделать без  
нужды.

Схожу для освежения к Чеснокову. После dokonчу.

Писано 7-го, субб. 7 час. утра. Завтра я увижу ее.

Итак, по серьезном расчете, я вижу, что обзаведение не пред-  
ставляет никаких существенных неудобств. Конечно, мне хотелось  
бы, чтобы она нашла при вступлении своем в свою квартиру все  
вполне готовым — но все это мечты. И если дело пошло на то,  
что мне не у кого будет занять 1 000 р. сер., — в случае крайности  
можно попросить их у Ник. Ив., который сказал, что даст, если

будут в руках, — то можно будет ограничиться мебелью на 100, посудой на 100, поездка 200 р. сер., расходы свадебные 100 р., всего 500 р. Подарки можно прислать после, после же закупить мебели.

Откуда же я получу 500 р. сер.? От литературных трудов, надеюсь, если уеду отсюда в конце июня; в Саратов за нею отправлюсь в половине октября; все-таки в 3 месяца, конечно, по утрам буду работать для экзамена и кое-что даже Срезневскому; после обеда буду писать и верно получу несколько сот рублей сер. А если бы не получил? Верно кто-нибудь даст займы. Может быть даже Введенский, когда перед отъездом скажу на что. А если он не даст? Возьму у ростовщика по 20% и все-таки буду иметь 500 р. Но если у Введенского, то возьму чем больше, тем лучше. Наконец, если б не удалось получить деньги в Петербурге, возьму их в Саратове или собственными знакомствами, или даже через папенькино ходатайство у кого-нибудь из отдающих [под] проценты. Одним словом, когда рассудил и рассмотрел, вижу, что за деньгами остановки не будет. Если за нею будут деньги, для меня все равно; я скажу решительно, что трогать их на наши общие расходы не намерен. Но после, когда, пожив несколько месяцев, она увидит мою чистоту в отношении к ее деньгам, может быть можно будет, не тревожа ее, принять ее предложение дать мне часть своих денег займы. Но лучше будет, если этого не делать. И лучше будет, если за ней не будет ничего деньгами. Теперь это ей говорить еще не следует. Конечно, мне бы хотелось иметь перед отъездом 1 500 р. сер., чтобы у нас было при свадьбе все, что нужно.

Но вижу, что в денежном отношении затруднений не будет или они легко могут быть побеждены.

Теперь вопрос: как мы будем жить в Петербурге?

Раз в неделю у нас будут собираться знакомые. В другие дни мы будем дома только для своих, как это делает Введенский. Сами будем бывать у тех людей, которых она почтет достойными. Я без нее не буду бывать нигде, кроме как по делам. Довольно часто, — насколько позволят деньги, — будем бывать в театре. До 6 или 7 часов у меня весь день посвящен работе. Сажу за работу всегда, когда позволяет качество работы, подле нее. Но, наконец, мое время решительно в ее распоряжении, кроме времени, употребляемого на необходимую работу.

Выбор знакомых будет зависеть от нее. Я ее, конечно, познакомлю с кружком Введенского, особенно, кроме Введенского, с Рюминым, Милюковым, Городковыми. Потом от ее усмотрения зависит продолжение этого знакомства.

Мы будем жить вероятно одни. Но если захотят Иван Григорьевич или Саша и если она согласится, то, конечно, вместе. Эти люди не помешают нам, потому что это прекрасные люди, которые не будут ни вмешиваться в наши супружеские отношения, ни стеснять нас. Тогда, конечно, и квартира будет больше, и при-

слути больше, и стол может быть с большими прихотями. Саша, если уж так будет нужно, может некоторое время жить даром. Ив. Григ. — как угодно, будет ли участвовать в третьей доле расходов, или платить 25 р. сер. в месяц, это будет зависеть от его отношений: захочет ли он быть решительно членом семейства или только жить с нами. Если будем жить вчетвером, тогда комната для Ив. Григ., для Саши, для меня, для нее и 2 общие комнаты. Эта квартира будет стоить 350 или 400 р., прислуга: прибавится лакей.

Маменька если захочет жить с нами, мы постараемся устроить, чтоб приехала года через два. Через два года мы сами, вероятно, приедем сюда в Саратов на каникулы—если она захочет; если нет, съезжу один на месяц.

Теперь, кажется, все. Остаются вопросы: 1) состоится ли наша свадьба; 2) что будет, если не состоится; 3) любит ли она меня. Эти вопросы разрешить теперь рано в слишком подробных соображениях. Это будет гораздо яснее перед отъездом. Напишу только общие соображения.

1) Вероятно. Оттого, что или она привязана ко мне в самом деле и хочет выйти за меня не потому только, чтоб выйти за кого-нибудь, или, если не видит теперь, мало-по-малу увидит, что другие женихи (кроме этого киевского помещика) хуже меня.

2) Если не состоится, если она не дождетя меня — это меня в самом деле весьма поразит, говоря без всяких шуток. Это меня расстроит надолго. Но не состояться может она только в случае, если ей представится жених, который покажется ей лучше меня. Я скорее умру, чем не сдержу своего обязательства, не сдержат которое будет для меня позором, который отравит всю мою жизнь, сдержат которое теперь для меня представляется источником счастья.

3) Любит ли она меня, т.-е. я говорю не про романтическую любовь — этого нет, про то, что кажусь ли я ей человеком в самом деле стоящим особой привязанности, человеком, с которым она будет гораздо счастливее, чем при равных денежных средствах с другим кем бы то ни было? Кажется, что так. Во всяком случае, все ее обращение дышит истинною нежностью, горячею привязанностью. Все, решительно все. Все дышит горячею привязанностью.

Да будешь же ты счастлива, моя милая! В тебе теперь моя жизнь. Нет ни одной мысли у меня, которую не озаряла бы мысль о тебе. Я вполне предан тебе. Я чувствую себя совершенно другим человеком после 19 февраля. Я стал решителен, смел; мои сомнения, мои колебания исчезли. Теперь у меня есть воля, теперь у меня есть характер, теперь у меня есть энергия.

Теперь мои впечатления и моя перемена после 19 февраля. Но это после, теперь иду пить чай.

Писано в 9<sup>1/2</sup> часов утра 7 числа.

### Впечатления и следствия для меня.

В первые минуты после того, как я ушел в четверг от О. С., я был доволен и спокоен, но только чувством того, что я поступил, как следовало поступить, что я не отступил, когда мне говорят: я хочу быть с тобою. Но не могу решительно сказать, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений насчет того, не найду ли я впоследствии в своем поступке опрометчивости и рискования своею участью. Я не мог не рисковать, это я знаю; если бы я отказался от риска, я замучился [бы] упреками совести и собственным презрением, это так. Но мне все-таки казалось, что я сделал страшный риск. «Я не могу не идти; но к чему меня приведет эта дорога, я еще не знаю». Одним словом, я был доволен собою и только.

В пятницу я был в гимназии, после обеда поехал к Ник. Ив. Тут-то, сидя в своей комнате и за обедом, и после обеда, я начал все живее и живее чувствовать, что я не только доволен, что я счастлив. Когда, наконец, я поехал к Ник. Ив. и мог на свободе — первые минуты совершенного уединения и самоуглубления после разговора с ней — совершенно предаться своим впечатлениям, я дошел до решительного восторга, какого никогда еще не ощущал. Я стал решительно блажен. И это продолжается с той минуты до сих пор. И чем больше идет время, тем глубже становится мое счастье тем, что может быть я буду ее мужем. Оно теперь уж вошло в мою натуру, стало частью моего существа, как мои политические и социальные убеждения. К Ник. Ив. я вошел в решительно радостном расположении духа, я чувствовал, что мое сердце стало не таково, как было раньше. «Я теперь решительно изменился», — сказал я ему, хотя вовсе не хотел высказываться, но не мог — от избытка сердца говорили и уста. «И эта перемена все будет усиливаться. Мое презрение к самому себе, источник моего ожесточения, причина того, что я покрываю ядовитым презрением все, прошло. Теперь я почти доволен собою, потому что на-днях поступил почти решительно, как порядочный человек, и в мире с самим собою. Я теперь не хочу ругать никого». И я сдержал свое слово, не хотел даже смеяться над богом и будущею жизнью, от чего не удержался бы раньше. Говорил потом с восторгом о том, что высшее счастье есть семейная жизнь. Наконец, при отъезде почти проболтался: «Я завтра к Стефани. Если нет у [меня] ни аневризма, ни чахотки, я на-днях делаю предложение одной девице. Nursprechen Sie niemand von meiner Heirath\*». — Почти проболтался. Почти проболтался через неделю, 26 февраля, в четверг, Анне Никаноровне: когда вошла мать, и она хотела показать, что мы говорим решительно не о том, о чем говорили, т.-е. о наших отно-

\* Только не говорите никому о моей женитьбе. *Ред.*



шениях, она сказала: «А вот Николай Гаврилович говорит, что хочет жениться». Когда мать ушла, я сказал: «А вы, не думая сказать правду, сказали правду. Я женюсь». К счастью, конечно, и она, и Ник. Ив. позабыли об этом или не приняли это совершенно серьезно. Я писал с восторгом несколько мест, содержащих в себе общие возгласы, в письме к Саше 26 февраля. К счастью, дело, конечно, не ясно для него. Ник. Ив. и Анна Никаноровна или не обратили внимания, или забыли, или так деликатны, что не напоминают.

А что было бы со мною без этого? Я все дни перед четвергом был в страшной тоске. Я вздыхал беспрестанно, я плакал при мысли, что должен буду прекратить эти отношения, что должен буду расстаться с ней, едва начав, что день моей жизни затмевается в самом начале.

После этого сбылось то, что я ожидал: мое озлобление против себя проходит. Проходит и мое ожесточение, моя желчь против всего, что попадается мне. Вот совершенная картина моей внутренней жизни до и после: раньше это был туман, покрытое все одной серой тучей небо, на котором только изредка мелькали светлые места между облаков. Теперь это чистое, ясное, лазурное небо, по которому только изредка пробегают облака, но и эти облака озарены солнцем моей жизни, мыслью о ней, и они скоро рассыпаются от теплых лучей яркого солнца. Одним словом, вместо дурного расположения духа я теперь имею хорошее расположение духа.

Я бросил свои гнусности, я перестал рукоблудничать, я потерял всякие грязные мысли, перед моим воображением нет ни одной грязной картины. Разврат воображения, столь сильный раньше, совершенно исчез. Я чист душою, как не был чист никогда.

И женщины, девицы перестали решительно иметь на меня электрическое действие, которое имели раньше. Я теперь могу говорить о себе, как говорит один святой в Четь Минее (я не хочу прибавить даже — нелепый, как прибавил бы раньше — теперь я щажу всех и все). «Как ты чувствовал себя среди женщин?» — «Как дерево среди деревьев». Пусть я вижу в самом соблазнительном положении кого угодно, пусть (я с неохотою пишу эти грязные предположения, но я хочу писать все, что думаю) — пусть меня заставят натирать мазью, напр., Кат. Ник. Кобылину, от кого я приходил в электрическое волнение, — я бы натирал ее так, как натирал бы молодого человека, и мне [было] бы только неприятно смотреть на ее наготу, я бы думал не о ней, да и об О. С. никогда не думал я нецеломудренно. Ни одной грязной мысли не являлось в моей голове с тех пор, как она в моей душе. Я жду. «Ты будешь моею женою». Я теперь смотрю, например, на Кат. Ник., как смотрит 50-летний отец на своих миленьких дочерей, я смотрю на нее, как смотрит Ник. Мих., и я теперь говорю, потому что не боюсь за смысл своих слов, я говорю, как только

разговор идет о ней: «Кат. Ник. нельзя не любить». Да, это решительно так. Пусть меня положат на кровати с красавицею — я буду лежать подле нее и думать об О. С., и ни одной не будет у меня неделомудренной мысли ни о той, которая подле меня, ни о ней. Теперь я способен к тому, что делали арабы: ложатся на одну постель с женою друга и спят подле нее: дружба предохраняет их от увлечения. Так меня охраняет от всяких чувственных мыслей о всякой другой мысль об О. С. Но моя любовь к ней вовсе не односторонне-идеальна. В ней есть и чувственный элемент, но этот элемент очищен, облагорожен высшей любовью. Для полноты любви должна быть в ней и чувственная сторона — и, конечно, она сильна в моей любви к О. С.! Я чрезвычайно чувственно люблю ее! Но чувственная любовь к ней только дополнение, только проявление, только выражение сердечной любви к ней. Я люблю ее как любовник, но еще больше люблю ее как муж. Я люблю ее как Ромео любит Джульетту, но я люблю ее как Гика \* любит свою... \*\* милую.

Иду отдохнуть от чувств, спокойных, но слишком сильных. Это восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и радостной жизни людей, — спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии, это равно не волнующее сияние солнца. Это не знойный июльский день в Саратове, это вечная сладостная весна Хиоса.

Надежда на счастье быть ее мужем имеет, кажется, уж и прямо благоприятное действие даже на мой организм: пропадает тоска, пропадает и ее следствие — боль в груди против соска, эта боль, которая так заставляла меня сомневаться в здравьи моей груди. По крайней мере, я теперь ничего не чувствую вот уже несколько дней. Да и сама грудь, вероятно, будет крепче, чем раньше: во всяком случае, во все эти дни я писал больше, чем когда-либо, и, однако, не чувствовал боли в груди. Что ж? Весьма естественно, что спокойствие сердца успокаивает и грудь.

Но есть и еще влияние — это то, что пропадает моя нерешительность, мнительность, застенчивость; что из робкого, малодушного я стал человеком твердым и решительным. Действительно, я теперь чувствую, что справедливо написал в этом дневнике несколько дней тому назад:

O Mädchen, Mädchen! Wie lieb ich Dich! Wie ich Dich liebe mit warmen Blut, Die Du mir Jugend und Freud und Muth Zu neuen Thaten Und Glücke giebst. Sei ewig glücklich, Wie Du mich liebst!

Теперь я говорю: Wie Du mich liebst, потому что несколько дней размышления, обдумывания, углубления в твое обращение со мной уверили меня, что ты любишь меня! Что я имею цену

\* Неразборчиво. *Ред.*

\*\* Неразборчиво — райскую? *Ред.*

в твоих глазах! Что и для тебя было бы прискорбно разлучиться со мною.

Вот твое влияние:

Я стал через тебя из тряпки, дряни — человеком; я стал из ожесточенного — радостным, гуманным в мыслях; я стал из мнительного, недоверяющего себе — уверенным в себе, уважающим именно себя.

Да будешь ты счастлива! Кончаю этим:

Да будешь ты счастлива!

И ты будешь счастлива!

Теперь принимаюсь перечитывать написанное и делать дополнения и вставки.

Да будешь ты счастлива! Меня ты уж делаешь счастливым.

И ты будешь счастлива!

(о, как робко прибавляю я — со мною или с другим, но ты будешь счастлива!)

Потому что в тебе столько высоты\*, столько ума, что ты не ошибешься в выборе!

И если ты выберешь другого, этот другой в самом деле будет достойнее тебя, чем я, и ты будешь с ним счастливее, чем со мною.

Но — о, если бы я был признан тобою достойным тебя! И если бы ты думала — а ты настолько умна и проницательна, что твои мысли не будут обманчивы, в пользу ли мою будут они или в пользу другого, — о, если бы ты думала, что будешь счастлива со мною!

Ты во всяком случае будешь счастлива!

8-го. Воскресенье. Половина третьего.

Утром взял Кольцова от Смирнова. Отдал 3 р. сер. Довольно хорошо вышел переплет. Это будет мой первый подарок ей и первый мой подарок женщине. И взял с почты «Копперфильда»<sup>281</sup> Введенского, которого прислал он мне в подарок, и его отдал с надписью. Потом был у Патрикеевых, где могу увидеться с нею. Теперь к Кобылиным, оттуда к ней, но раньше занесу книги. Какое-то будет нынешнее свидание? С трепетом думаю о нем. Так много нужно переговорить: 1, хитрит ли она со мною? 2, мои чувства к ней; 3, где будем видаться? 4, что ей во мне нравится? 5, о моем отъезде и переписке. Чем скорее уехать, тем лучше. Постараюсь — только не сумею сделать, чтобы она больше говорила. Начинаю одеваться.

Со следующей страницы начинаются снова описания событий. Но теперь они будут уж рядом с чувствами, размышлениями, впечатлениями. Завтра я надеюсь видеть тебя. опять говорить с тобою.

\* Неразборчиво. Ред.

8 марта, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. вечера. От Кобылиных отправился к ней в 6 час. по моим и опоздал на <sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа по их. От них в 8 час. к Анне Никан. Утром уговаривался, чтобы у них были Патрик. и Вас. Дим., и накликал на свою шею, потому что нам мешали. Отправляясь к Кобылиным, я заехал к ним, завез книги (Кольцов и Копперфильд). Я вошел во двор и проходил было за заднее крыльцо, как вдруг с лестницы голос: «М-г Чернышевский». — Это она. «Я для вас встала с постели» (она в пятницу и субботу была очень больна: у нее болела грудь и голова — я этого не знал). «Вот какое сильное доказательство любви!» — Тут еще была Рычкова. — «Вы соскучились обо мне?» — «Чрезвычайно», — это я сказал с чувством уж. Я взошел. «На минуту. Вот я привез книги». — «Merci». — «Когда?» — «В 6 часов, но не позже». С ней была младшая Рычкова, но потом ушла, и я, оставшись с ней, несколько раз поцеловал ее руку. От Кобылиных, наконец, — как мне хотелось и как робел, чтобы не притти слишком рано. Вхожу — у них уж Афанасия Яковлевна, Патрикеева, младшая Рычкова, Василий Димитриевич, Ник. Дим., Воронов. Сначала она сидела с Вороновым, и я говорил с Кат. Матв.; милая, добрая, кроткая девушка! Потом сел с ней, когда стали другие танцовать. Патр. сказала мне: «Нет ли у вас книг?» — «Решительно нет». — «Напр. Кольцова, да еще в каком хорошеньком переплете! Или Давида Копперфильда?»

Боже мой, как я глуп. Как я глуп! Как я глуп!

Наконец, сели. Разговору нашему мешают. Сидят подле нас. Подходит беспрестанно Кат. Матв. Между прочим говорили о моих глупостях у Акимовых (Куприянов и Нат. Алекс. Воронова). Отрывками я мог говорить: «О. С., как вы думаете, хитрю я с вами?» — «Может быть». — Я уверял, что нет. — «Уедете и позабудете!» — «Помилуйте». Говорил, что докажу свою любовь чем угодно. «Если хотите доказать, поезжайте в апреле в Петербург и возвращайтесь в июле». — «Не могу. Потому что в это время каникулы. Раньше октября половины не могу. Но знаете что: не хитрите ли вы со мною? Не хотите ли вы заставить меня жениться на вас раньше отъезда в Петербург? Этого не должен я делать, чтоб не заставить вас несколько месяцев нуждаться. Но я совершенно в вашей воле — когда вам угодно и что вам угодно»<sup>232</sup>. — «Нет, я этого не хочу». — «Если вы хотите, скажите мне — скажите, мне должно говорить прямо» — и я привел в доказательство свой приезд в Саратов. — «А если ваши родители не согласятся?» — «У меня есть средства, этого не будет, но я об этом думал». — И я говорил в общих фразах о том, что у меня в дневнике. Не передаю подробностей разговора. Я спросил, говорила ли она Бусловской, что выберет между мной и Яковлевым. Она не говорила — так я и думал. Она сказала: «Мне кажется, вы женитесь на мне из сострадания; как долго! с отчаяния я могу сделать бог знает [что]. Я могу выйти замуж, как чуть не вышла в прошлом июле. Но теперь я не выйду без разбора. Я ни в кого;

вероятно, не влюблюсь. Но никто не нравился мне более вас». Прощаясь, я сказал: «Я решительно недоволен нынешним вечером. Когда мы можем говорить с вами?» — Она сказала: «Будущее воскресенье». — «Так долго?» — «Хорошо, во вторник, в половине седьмого». При прощании я не поцеловал даже ее руки; я просто пожал ее руку. До вторника. Нужно же переговорить все, как следует.

О, моя милая! Как я люблю тебя! Как ты чиста и благородна! Да будешь ты счастлива!

10 марта, 10 часов утра. Вторник.

И вчера, и ныне все думаю о ней. Она сказала в воскресенье на мой вопрос: «Чем же доказать, что я совершенно искренен в моей любви?» — «Вот чем: поезжайте в апреле, возвращайтесь в июле, потому что мне, может быть, будет слишком тяжело, и отчаяние может заставить выйти за человека немилого». — Я сказал, что воротиться раньше октября не могу. Теперь думаю, вчера я решил сделать, во всяком случае, то, что от меня зависит: я уеду в апреле, непременно в начале мая, и то если задержит Кобылин (это все даст мне возможность кончить свои дела несколько раньше), а то как будет путь. Не стану дожидаться здесь, пока кончу диссертацию. Довольно того, что успею, хотя буду работать всеми силами. Довольно переписать словарь. Теперь принялся за диссертацию. Это смотри в другом дневнике. Ныне, когда я входил в комнату, где [пили] чай, маменька говорила Анне Ивановне, которая жаловалась на одышку: «Поедьте к Сократу, к Анне Кирилловне»<sup>233</sup>. — «Поедьте ныне», — сказал я. Маменька сказала, что можно. Если поедем ныне, я раньше должен побывать у них и объяснить, что это не моя мысль, что это сама маменька. Как-то она понравится маменьке? О, моя милая, я живу только тобою.

10 часов вечера. О, как я ждал не дождался времени, когда увижу ее, поговорю с нею! Вот наконец я вхожу на переднее крыльцо, — так она сказала мне — прислушиваясь: никого, вхожу в переднюю, все тихо; долго стою, весьма долго, дожидаясь, не выйдет ли кто, чтобы не быть принужденным самому отыскивать — нет. Нечего делать, иду; в гостиной, которая отворена, не видно никого. Иду через коридор в заднюю людскую. — «У себя Анна Кирилловна?» — «У себя, да в детской О. С., пожалуйста». — Вхожу, она на диване в комнате Ростислава (Ростислав уехал на следствие куда-то). Вхожу. Подаю ей руку (ни при встрече, ни при прощании не поцеловал, к чему?). Сажусь подле нее. Она говорит мне, что долго оставаться нельзя, что с Анной Кирилловной лучше не видаться — почему? «Мне и так за вас досталось в воскресенье. Маменька не хочет, чтобы я принимала кого-нибудь, даже коротких знакомых, когда нет брата». — «Вы мне сказали, чтоб я уезжал в апреле, приезжал в июле; я думал, думал об этом, наконец, решил: мой ранний отъезд может несколько, весьма немного, ускорить мое возвращение, и я поеду в самом начале мая или даже в конце

апреля. Но только в таком случае, если до тех пор я успею убедить вас, что я решительно искренен. Верите ли вы мне или нет?» — «И верю, и нет». — «Итак, я еду в апреле или мае». — «Нет, лучше оставайтесь до июня». — «Для Венедикта?» — «Да, он говорит, что без вас будет плохо». — «Я уж думал об этом (действительно, я давно уж обдумал это и решил). Я перед отъездом скажу, что нужно. Анне Кирилловне угодно, чтобы он кончил с правом на чин — скажу, чтобы его дали непременно, что если не дадут, то должны ожидать от меня... неприятностей»... Молчание. «Что же, мы будем играть с вами в молчанку?» — «Что ж начинать говорить и не доканчивать». — «Скоро я должен уйти?» — «Чем скорее, тем лучше». — «А к Анне Кирилловне не заходить?» — «Нет». — «Мне кажется это неловко». — «Нет, лучше не заходите, — уходите же» — и она проводила меня. Мне сказали: Анна Кир. просит вас к ней кушать чай (ведь я спрашивал, дома ли Анна Кир., она это не знала; может быть, если [бы] знала, и согласилась бы, что неловко не зайти, а я, олух, не успел сказать ей это! Фу, как я глуп!). — «Неловко не зайти». — «Нет, лучше не заходите». — «Когда же я могу видеть вас?» — сказал я при прощании перед уходом из комнаты Ростислава. — «Вот видите, я не такой страстный любовник, чтоб для меня было необходимо постоянно, беспрестанно видеть предмет своей страсти, но мне хотелось бы говорить с вами, чтобы вы лучше узнали меня». — «В воскресенье на минуту можете быть у нас, потому что это день моего рождения; будут Патрикеевы и Фанни». — «А раньше? Вы не будете у Патр.?» — «Нет, я буду у них в то воскресенье, на 3-й неделе буду говеть». — Боже мой, как я глуп! Боже мой, как я глуп! Не сказал ей, что спрашивал я сам Анну Кир. — и ушел, а должен был зайти к Анне Кир. — и грустно мне теперь.

И грустно, грустно мне. Снова до воскресенья! И еще до того воскресенья, потому что в это воскресенье я должен быть только на минуту и не успею сказать ничего — и в то воскресенье у Патр. снова то же — можно ли там будет говорить? Когда ж, наконец, мы сблизимся так, чтобы лучше узнать друг друга? Т.-е. чтобы мне узнать, действительно ли она, как мне кажется, нежно привязана ко мне, а ей убедиться в том, что я не хитрю, не обольщаю ее обещаниями, которых не сдержу? Грустно! Неужели и все мои ожидания и надежды, и мысли о счастье с ней так же разлетятся, как это наше свидание? Грустно! На глазах у меня слезы.

Нет, не хочу кончить этим. Да будешь ты счастлива! Вот мое окончание.

Да будешь ты счастлива!

Да когда ж я увижусь с тобою, как должно? Да когда ж мы будем видеться с тобою, как должно? Но что ни будь, я хочу в наших отношениях только одного: чтобы ты была счастлива. Я буду счастлив твоим счастьем, хотя бы ты была счастлива с другим.

Да будешь ты счастлива!



11 марта, 9 час. утра.

Хитрит она со мною или нет? Все ее обращение показывает, что нет. И если даже хитрит, как она должна быть умна, чтобы так хитрить! Что она не чувствует ко мне такой глупой привязанности, как я к ней, это так; но если она гораздо более осторожна, чем я, это происходит от того, что она гораздо более стеснена, чем я, и, наконец, она еще не совсем доверяет мне. Я никогда не позабуду того, как у Чесн. в пятницу на масленице, когда мы сидели в зале, она вынула бумагу из кармана. — «Что это такое?» — спросили Вас. Дим. и Кат. Матв. — «Вам нельзя показать это». — «А мне?» — «Вам можно», — и она отдает мне ее. Я вышел в переднюю; это был мой листок, на котором было написано распределение песен Кольцова для гимназии. Когда Воронов брал у меня эту книгу и принес назад, листка не было; он сказал, что потерял — это она взяла его, чтобы иметь что-нибудь моей руки. Это меня чрезвычайно тронуло. Я воротился и отдал ей, потому что она дала с условием, чтобы я возвратил: О. С., неужели это не шутка? Боже мой, нет, как угодно, это не хитрость!

Женюсь ли я на ней? вероятно, т.-е. я говорю не о том, сдержу ли я свои обязательства, а о том, что, вероятно, она не найдет до тех пор человека, который бы ей нравился лучше меня, которого бы она предпочла мне. Буду ли я счастлив с нею? Нечего и говорить о том случае, когда она будет иметь ко мне нежную привязанность. Но если бы даже этого и не было, я с нею был бы более счастлив, чем с другою, что в самом деле она такова, какова должна быть моя жена.

А если она выйдет за другого? Что тут поразит меня? То, что я потерял прекрасный случай окончательно устроить свою судьбу. Но будет ли это прямым ударом для моего сердца! Не знаю. Кажется, что нет, но, вероятно, будет. Буду ли я тосковать, как любовник, который потерял свою возлюбленную, или как человек, который потерял возможность устроить наилучшим образом свою судьбу? Кажется мне, что только как последний. Но к чему еще приду я, это неизвестно. Еще полтора месяца впереди.

То, что она не дорожит собственно мною, как я дорожу собственно ею, это несомненно. Что она не хитрит со мною, что она в самом деле рада выйти за меня, а не просто выйти поскорее за человека, с которым, как с весьма многими другими, можно жить — и это правда.

Принимаюсь за дело.

Писано 14 марта в 9 час. утра.

Четверг, 12 марта. Я вложил письмо № 1\* под бумагу, которою

---

\* Ваши отношения ко мне, ваши мысли обо мне, о моих чувствах неопределенны. Эта неопределенность мучит меня. Я решительно затосковал. Ждать до воскресенья — нестерпимо. Да и что будет в воскресенье! снова

обернул «Историю русской поэзии» Милюкова и отдал ее Венедикту. После этого я был спокоен. Но дожидался с трепетом, что будет. Не придет ли Венедикт? Нет. Наконец, 6 часов. Я готов. Но со мною едет Сережа. Я не хочу, чтобы он знал. Я еду к Палимпсестову, у которого хотел быть вечером после О. С. Его еще нет дома. Прекрасно. Посылаю за извозчиком. Еду. Вхожу. Она сидит в зале. «Так вы здесь? Я думала, что вы не будете». Я был рад своей смелости, я со смехом уверял ее в своей любви, просил верить мне. Наконец, — не буду описывать всего в подробности потому, что мне некогда, я должен спешить работать, — наконец, является разговор о Кольцове. Она хотела, чтобы я прочитал оттуда несколько стихов. Я не хотел, потому что читаю дурно, и не хотел, чтоб еще раз показаться ей смешным. Она показывает вид, что сердится. Наконец, я читаю «Бегство». — Она смеется. — «Вы читаете решительно как псалтырь». — «Поэтому-то я и не хотел читать вам». Это был снова веселый эпизод. Но содержание разговора. «Неужели вы думаете, что я могу не сдержать своих обещаний?» и т. д. Уверял, что никого не люблю, кроме ее, и расказывал о том, кто мне нравился (между прочим о той красавице в опере в бель-этаже и о жене Василия Петровича. «Мой друг женился, чувство дружбы говорило мне, чтоб я одобрил его выбор. Я напрягал свое воображение и достиг так до того, что его невеста мне стала нравиться». Сказал, что здесь ни одна девица мне не нравится, хоть есть хорошенькие, то я слишком разборчив. «Например Кобылина?» (потому что разговор был и о ее болезни) — сказала она с улыбкою, так что видно, что по ее мнению она не хороша. Я постыдился за себя, как стыдился почти постоянно и раньше, и сказал, что она была бы хороша, если бы на ее лице не было глупенького выражения — что и правда. Я уверял, что привязан к весьма немногим, и, между прочим, в Саратове ни к кому — что и правда, — что мне только люди милы за свои мнения и свои качества. «А в Петербурге, — сказала она, — вы не любите никого? Например, Введенского?» — «Вовсе не думаю, чтобы отношения наши с ним были так коротки». — «Может быть, с его женою были короче?» — «Да, она подарила мне при отъезде сигарочницу. Подарила и сестра. Я ей отдал взамен сигарочницу Введенской, а ее сигарочницу отдал здесь одному из своих приятелей». — «Хорошо ж бережете подарки. Так бы вы сделали и с моим?» — «Нет, все, что я получил от вас, я берегу». — «Напри-

не удастся мне сказать с вами ни одного слова. Я прошу у вас позволения быть ныне у Анны Кирилловны. Это тем более необходимо, что во вторник я спрашивал А. К., а не вас, — это ей, конечно, сказали, — и между тем не был у нее. Это неловко. Если вы не пришлете до 5 часов мне с Венедиктом приказания не быть, в 6 часов буду у А. К. Чтоб хоть на минуту видеть вас, чтоб сказать с вами хоть одно слово. До сих пор я не мог достичь даже того, чтоб вы считали меня человеком честным. Нет, это невыносимо.

12 марта [1853 г.]

(писано в 1/2 XII и отдано Венедикту).

мер что же? Верно бахрому от мантильи?» — «Да. Но одну вашу вещь я сжег». — «Почему? Какую?» — «Это какое-то вязание, которое дал мне Вас. Дим.». — «Почему это?» — «Я не хотел вернуть его, не хотел и иметь». — «А, потому что это было дано не вам». — Когда о Кольцове она сказала, что подчеркивал ли я там что-нибудь, я сказал, — я подчеркнул в «Последний поцелуй»: «На полгода всего мы расстаться должны» — и «как весна хороша ты» — но «невеста моя» не подчеркнул. — «А другого ничего?» — «Нет». — «Почему же вы не подчеркнули — невеста моя?» — «Не хотел». — «Почему?» — «Так, не хотел». — «Из скромности, знаю». — Она отыскала это и — «Да подчеркните ж и это». — «Нет, нельзя». — «Подчеркните». — И она взяла мою руку и провела ногтем моим по этим словам. Но я не хотел подчеркнуть и не подчеркнул. — Это еще когда будет. — Еще: «Вы довольно смелы» — это при начале разговора. — «Да, мне стоит только вздумать, что так должно сделать, и сделать для меня ничего не стоит». — «Как, напр., вы начали разговор со мною». — Конечно, это была шутка, и сказано это было шуточным тоном, так что нельзя было ошибиться. Но шутил я недолго. Теперь, напр., я припомнил, что через несколько дней я говорил, что, к сожалению, не могу жениться, но если бы мог, то сделал бы предложение. Еще, когда о Кольцове, она со смехом говорила: «Ну, читайте же: «Обойми, поцелуй, приласкай, еще раз поскорей поцелуй горячий». — «Нет, это не нужно, и я этого не хочу».

Снова продолжаю сущность разговора. «Все мои ожидания о том, какое влияние произведут на меня мои отношения к вам, сбылись. Не сбылось только одно: я думал, что они дадут мне спокойствие, а между тем я мучусь и тоскую». — «Как же вы хотите, чтобы я верила, когда вы говорите это и смеетесь». — «Я говорю совершенно серьезно, даром, что смеюсь». — «Если хотите, и я буду вас уверять, что люблю вас, но это будет ложь». — «Я этого и не хочу слышать, я хочу только, чтобы вы мне верили». — «Ну, я вам верю»; я заставил ее это повторить несколько раз и, наконец, в самом деле убедился и успокоился. И теперь решительно спокоен. Потом намеки о ее приданом, — что этого я совершенно не жду, — намеки на то, что у меня решительно нет ничего — это должно еще сказать яснее, я сказал только, что хочу сказать ей оскорбительную вещь, что это неприятно для меня, но что она сама заставляет меня сказать это, потому что два раза говорила об этом, хотя я раньше говорил в таком тоне, что она не должна была возобновлять подобный разговор (Палимпсестов после сказал, что за ней должно быть 3000 р. сер. — я не думаю, что мне представлялась такая же сумма, когда она в четверг сказала, что что назначено ей, то будет дано; для меня это все равно), и я ей скажу. — Намеки на то, что она огорчает меня тем, что сказала, чтобы я остался для Венедикта; но я ей не сказал этого, скажу все-таки. Как она догадлива! Так о поцелуе, — что я этого не хочу (тут большею частью был Венедикт — он знает, что я жених; —

«Поцелуйте же ее», сказал Венедикт. — «Не хочу я этого», — сказали и она, и я. — «Да ведь вы хотели же и поцеловать на пасху». — «Не поцелую», сказала она. — «И я не поцеловал бы вас. Если бы тут было 50 человек, я перецеловал бы всех, но вас не поцеловал бы»). Наконец, разговор о том, что я не должен бывать у них: «Дайте честное слово, что не будете у нас после следующего воскресенья до пасхи». — «Нет, не [дам], потому что мне надо видиться с вами\*». — «Вы будете меня видеть у Патрикеевых в следующее воскресенье, потом в церкви». — «Если я буду видиться с вами, для меня все равно, у вас или где-нибудь». — Раньше этого, когда о том, хитрю ли я — я сказал: «Я-то уж не хитрю, и вы настолько проникательны, что должны это видеть, но другому показалось бы, что вы хотите хитрить со мною. Весьма многое в вашем обращении могло бы показаться кокетством, я думал об этом, весьма многое». — «Почти все», — сказала она. — «Я замечаю это, но вместе с тем я замечаю другие вещи, которые другой не заметил бы; я замечаю, хотя обыкновенно не вижу и не замечаю ничего». Потом я сказал: «Наши характеры, повидимому, весьма различны». — «Да, весьма различны». — «А между тем вы не сказали, не сделали ничего такого, чего бы не желал я — вот поэтому-то вы и нравитесь мне». Но довольно. Опишу расставанье. Когда я стал выходить, — чтоб я был у Анны Кириловны, она не хотела: «Сама пусть позовет, если хочет, она знает, что вы здесь». Когда я выходил, Венедикт накинул на нее мою шубу, она засмеялась, надела шляпу, вышла. «Извозчик», — закричала она и сказала: «Я так прокачусь», и поехала по площади до угла, потом, воротившись, давала мне целовать руку несколько раз. Наконец, смеясь, протянула губки. «Поцелуйте в самом деле», — сказал я — конечно, я не ожидал и не хотел этого, но эта шутка была так мила. Потом она стала за перилами и все ворочала меня и давала несколько раз целовать руку. Оканчиваю тем, что она сказала мне: «В самом деле к вам весьма можно привязаться».

Я ей говорил о том, как мне хочется помолиться\*\* за нее. Я ей говорил о том, что если за полчаса до свадьбы она сказала бы, что ей больше нравится другой, я порадовался [бы] за нее. Но я еще должен ей сказать о ее женихе из Киевской губернии, — что я не совершенно этому верю.

Теперь я совершенно спокоен.

Да будешь ты счастлива, милая, милая!

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа. После обеда.

Я, уверяя ее в том, что сдержу обязательства свои, сказал ей, что если б я нарушил [их], это имело бы следствием такой позор

\* Я сказал еще: я довольно жил в своих отношениях, кроме любви к женщине. Я много испытал. Но я никогда не испытывал ничего настолько сильного, как то, что заставляют меня испытывать мои отношения к вам. И это правда.

\*\* Неразборчиво. Ред.

в моих собственных глазах, что я не мог бы оставаться живым, что я не в горячности, а совершенно спокойно убил бы себя; что я совершенно спокойно решил бы, что жизнь после этого мне будет несносна и что я не могу жить. Раньше этого я сказал ей, что я пока не влюблен, но что моя привязанность к ней развивается страшно, так что, наконец, я не отвечаю за то, чтобы я не показался ей еще большим чудачком, чем теперь, и что дело может кончиться тем, что я решительно влюблюсь в нее. Я тяжел на подъем, но когда примусь, то уж тут я пойду далеко. Она ревнует меня. Это кажется ясно. Ревнует не серьезно, конечно, но все-таки ей приятна мысль, что мое сердце не принадлежало никому, кроме нее, и она хочет удостовериться в этом. Значит, в ней есть ко мне привязанность. Я говорил ей об этом дневнике, и она говорила несколько раз, чтоб я принес его. Может быть, — вероятно даже, — что я отнесу его завтра, как и говорил ей, — но когда можно будет читать? Может быть и будет время. Но мне жалко его терять. Кажется, она в самом деле начинает привязываться ко мне. Во всяком случае, она сказала: «К вам весьма можно привязаться».

NB. Она мне весьма часто говорила: вы любите поговорить, вы весьма любите поговорить.

Теперь мои размышления:

Хитрит ли она со мною? Нет, это ясно из ее обращения, открытости, из всего. Она не хочет и не может хитрить.

А мои сомнения? Совершенно изгладились. Т.-е. сомнения о том, что она говорила Бусловской, что она в понедельник говорила мне, что Яковлев ей сделал предложение; что ее сватали эти два помещика — харьковский (в этом я не сомневался) и киевский — это должно быть так и было. Дождется ли она меня? Вероятно. Она сама сказала: «Раньше я вышла бы за первого встречного, теперь буду разборчива». Дело зависит от того, чтобы кто-нибудь понравился ей больше, чем я. Я думаю, что она успеет привязаться ко мне так, что едва ли найдет человека, который бы ей понравился больше. Когда я ворочусь? Вероятно в сентябре, и в октябре, через 28 дней, буду в Петербурге с ней.

Мои отношения к домашним? Маменька не будет против этого выбора. Если будет, я уж сказал, что я скажу ей и что я сделаю, если она этим не убедится; но, во-первых, едва ли понадобится и сказать, а если понадобится, то будет совершенно достаточно одного намека.

Но мне совестно, что я ее, которая не любит меня, а разве просто думает, что я хороший человек и что за меня можно пойти с удовольствием, что ее я люблю гораздо более, чем маменьку, которая живет только любовью ко мне. Мне совестно.

Как мы будем жить с нею? Решительно счастливо. Как она будет держать себя? Весьма свободно. Но кокетничать будет гораздо меньше, чем теперь. Она весьма остепенится. Но если б и так, пусть она дурачится, шалит — это будет меня радовать за

нее, — хотя, может быть, и будет у меня чувство — не ревности, нет, я так уверен в ее прямоте, что подозрениям против нее никогда не может быть места, — а зависти к тем людям, которые на минуту обратят на себя ее внимание. Будет ли она счастлива со мною? Будет, насколько это позволят денежные средства. А ее шалости и, наконец, это чувство зависти? Я уж и теперь делаюсь более рассудительным, потому что больше уверен в себе и через ее любовь приобретаю я эту уверенность в себе. Я буду менее глуп, менее малодушен, чем теперь. Ее шалости будут просто радовать и развешивать меня. Как я увидел ее в своей шубе и шляпе, я стал думать, не вздумается ли ей носить мужское платье. Если в Петербурге есть хоть одна блумеристка<sup>234</sup>, я сам предложу ей это, и мы будем щеголять с ней по Невскому и мы будем дурачиться. Но я уж успел сообразить: что ж она будет делать со своими волосами? Отрезать их жаль. Впрочем, для меня она будет так же мила с кудрями по плечам, как и с косою. Но в сущности она будет весьма верною женою, верною, как немногие. А если в ее жизни явится серьезная страсть? Что ж, я буду покинут ею, но я буду рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением. А какую радость даст мне ее возвращение! Потому что она увидит, что как бы ни любил ее другой, но что никто не будет любить ее так, как я. Я буду любить ее, как отец любит свою дочь, и как муж любит свою жену, и как любовник любит свою милую. А если предмет ее страсти будет недостоин ее? Тем скорее кончится эта связь, тем более она будет привязана ко мне. Нет, я не Буа Гибер в «Pêché de Mr. Antoine»<sup>235</sup>, я — одним словом я не нахожу лица, с которым бы я мог сравнить себя. Но пора за работу.

Прощай, дневник, до завтра. Завтра я снова увижу ее. Я счастлив тобою, милая невеста.

5 часов. Был у Чеснокова, чтоб поговорить о завтра, воротился — маменька еще спит. Пока проснется, снова пишу.

Что будет по моем приезде в Петербург? Примусь готовиться к экзамену. Это до обеда. Приеду если в половине мая, до половины августа это будет 3 месяца. Успею приготовиться весьма хорошо. Верно это будет много — заниматься 30 час. в неделю приготовлением. Верно будет до обеда время и для других занятий. Должно будет изучить для Никитенки Vischer's Aesthetik<sup>236</sup> — это одна неделя; две недели на историю литературы для Никитенки. Одна неделя для Устрялова. Два месяца для Срезневского. Устный экзамен кончу в две недели. Если диссертация — ее успеет просмотреть Срезневский до начала каникул, и в два месяца успею напечатать — будет готова к защите к началу сентября, буду защищать, если не согласится Совет в начале сентября, — после свадьбы. Это ничего. После обеда конечно много времени должно будет истратить для посещений (встаю в 8, до 3 занимаюсь — из 7 часов конечно в занятиях всегда успею проводить



4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> часа и в неделю 30), но наконец будет оставаться часа 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (от 5 до 7) для занятий, иногда ни часу, иногда целый вечер. итак, часов 15 будет в неделю; в это время можно написать печатный лист, итак 4 листа в месяц. Это доставит мне, конечно, сначала меньше, после больше 200 р. сер., во всяком случае 150 р. сер., итак около 500 р. сер.<sup>237</sup>. Проживу 100 р. сер., на 400 р. можно съездить и купить мебели. Рояль возьму напрокат тотчас по приезде (200 [р.] сер. на мебель, 200 на поездку), еще рублей 500, или, если можно, больше, займу.

Это я пишу потому, что главный предмет моих забот теперь денежные отношения. Остальные все уладятся. У кого займу? Если уж на то пошло — у ростовщика. После можно будет расплатиться. Но вероятно не откажется дать кто-нибудь из знакомых. Ведь нашел же Минаев. В Саратове кто? В последней крайности Николай Иванович. У него едва ли будут готовые деньги. Но для меня он выпишет. Но раньше кто-нибудь из кружка родных, напр., через Анну Иван. или что-нибудь в этом роде. Но раньше должно постараться найти деньги в Петербурге. Верно даст Введенский. Если нет — у ростовщика. Расплачусь. Потому что, наконец, глупо сомневаться в возможности работать и получать деньги, когда я выше всех из кружка Введенского, например, хоть выше его и Милюкова. Одним словом, деньги получу как бы то ни было. В Петербурге о своем намерении ехать жениться не буду говорить до последних дней, когда может понадобится объяснить, для чего нужны деньги.

Главное сыграть свадьбу и устроить квартиру. Там пойдет своим порядком.

Я человек, которым не будут пренебрегать. Я человек нужный. Буду писать в «Отечественных записках» или «Современнике»<sup>238</sup>. Может быть получу несколько денег и через Русскую Академию. Буду писать все, что угодно. Главным образом, если на мой выбор, критические исследования о различного рода литературе и теории словесности. Может быть даже составлю учебник вместе с Введенским. Ему отдам всю честь, себе приму только участие в денежных выгодах.

Одним словом, я скоплю казну и могу сказать ей наверное: «Там всего у нас довольно, эти люди нам друзья, что душе твоей угодно, все добуду с ними я».

В себе я теперь уверен. В ней уверен. В согласи своих родных уверен.

Где же ты, прежнее мое сомнение?

С ней буду переписываться каждую неделю. Она будет посылать письма на мое имя в университет.

О, моя милая невеста!

Ты источник моего довольства самим собою, ты причина того, что я из робкого, мнительного, нерешительного стал человеком с силой воли, решительностью, силою действовать. Благословляю тебя!

Да будешь ты счастлива!

(Все это писано в совершенно холодном состоянии духа.)

*Описание воскресенья, дня ее рождения. Писано 16-го, в понедельник, 4¼.*

Утром я был у Акимовых, потому что она велела быть, сказав, что это неловко, как бы я бывал только для нее. Я раньше этого читал свой дневник и нашел там описание вечера в Семеновском полку, которое меня много позабавило, но вместе и утешило: там нет ничего собственно об этой брюнетке, а только общие чувства о несчастном положении женщин, подобных ей, и там уж есть мысль — «я хочу любить одну, чтобы мог сказать ей: никого я не обнимал раньше тебя, никого я не любил раньше тебя». Я не думал, чтобы эта мысль была так стара во мне. Это меня обрадовало.

У Акимовых П. Вас. спрашивал меня, женюсь ли я на ней; я сказал, что еду в Петербург через 1½ месяца. На вечере Кат. Матв., с которой я говорил больше всех, сказала мне, помню ли я стихи Кольцова «Обойми, поцелуй и т. д.»; я стал говорить их. — «На полгода всего мы расстаться должны». — «Вот это я хочу вам напомнить, вы подаете эти надежды». — «Не знаю, сбывается ли это — мало ли что ожидаешь и что не сбывается». — «Зачем же возбуждать надежды?» — «Вот видите, я чрезвычайно привязан к О. С., но она ко мне нисколько» (это я говорил, что думал). — «Да как же можно так скоро?» — «Я ничего не хочу, а говорю только, что от своих слов я не откажусь, но что от нее я не вправе ничего ожидать».

Итак, в 5 час. мы явились с Фед. Дим. Акимовы были уж у них. Она сидела в каком-то белом платье, должно быть не своем, или в блузе, во всяком случае оно было весьма широко. Они сидели в комнате Ростислава; они с Катер. Матв. и Афанасией Яковлевной целый день шалили и переодевались во всевозможные наряды. Она тотчас убежала и переоделась — вот что, со мной, при мне она не хочет дурачиться, для меня она держит себя не так, как для других — я что-нибудь значу в ее глазах. Мы пошли в зал. Первую кадрили она имела кавалера — Гуськова, вторую хотела танцевать со мною, третью я должен был с Кат. Матв. В первую кадрили я пригласил Елену Вас., которая весь вечер страшно хотела любезничать со мной. Но она решительно дурная девушка и с ней я не хочу дурачиться, даже, напр., как с Вороновою, потому что она в самом деле кокетка. Я, впрочем, говорил ей довольно много о своей ненаходчивости в разговорах — в оправдание, что я не говорил с ней, и рассказывал довольно много примеров этого, между прочим, о разговорах с Шапошниковою, так что это имело вид откровенности. «Вы будете у нас в воскресенье?» — «Буду». — «Когда?» — «Поутру» (потому что я думал, что вечером будет О. С. у Патр., но теперь буду вечером, потому что вечером О. С. будет у Акимовых). Я

кроме того весьма много говорил с Кат. Матв., почти весь конец вечера. Это добрая девушка, но более ничего как обыкновенная добрая девушка, впрочем умная девушка, с которой можно быть откровенным. Она довольно много понимает в наших отношениях с О. С.

С О. С. я говорил весьма мало, почти только между второю кадрилию и в самом конце вечера, и Вас. Дим. был весьма недоволен моею нелюбезностью и сказал, что я держу себя ни на что не похоже. Я под конец вечера — все время ходил я с ним и с Кат. Матв. — сказал ему на его повторенные слова, что я плох до крайности, что ему, наконец, стыдно иметь такого protégé. «Наши отношения с О. С. довольно странны». — Он несколько понимает их, хотя не знает, кажется, всего. — «Без этих отношений я не поехал бы в Петербург». — Он все хвалил ее, говорил, что имей [он] возможность доставить ей такую жизнь, к какой она привыкла, он женился бы на ней. Значит, он не знает моих отношений к ней вполне. Рассказывал мне о том, какое ее житье, как Ростислав раз сказал ей, когда она приехала к Патрик. от Гусковых одна: «Я скажу отцу, что ты была в гостинице». Хотел сказать еще более об этом при случае. Сказал, что мать не любит ее до того, что не хотела отдать ее за Персидского, который весьма хороший человек и который ей нравился. Он сказал Сократу Евг., тот сказал, что он не прочь, что должно переговорить с Анной Кирил. «Приезжает он раз — больна, в другой — тоже, в 3, 4 — тоже, и дело тем кончилось».

Шутка с доскою для арифметики, которая стоит у них в углу залы подле передней. В первую кадрили мой визави Воронов любезничал со своей дамою Лидией Иван. (Рычкова, кажется). Фед. Дим. и Пав. Вас., которые не танцовали, написали на доске: «Дежурные старшины Ф. Д. Чесноков и Пав. Вас. Акимов», я тотчас написал сверху: «На свадьбе Лид. Ив. и Мих. Алекс.». Рычкова оскорбилась и ушла. Мы написали сверху: «Свадьба расстроилась», и понесли доску в заднюю комнату, где сидели слушатели — она была там — она вышла после этого, но О. Сокр. сказала, что она рассердилась и хотела жаловаться тетке, Дарье Кирил. Чтоб сколько-нибудь укротить ее, она велела мне написать «О. С. и Ник. Гавр.» и я написал это на двери в переднюю, как бы тайком. Ей тотчас это показали, я не хотел показывать, она, кажется, несколько успокоилась. Какая находчивость и какая доброта! Сколько раз уж я делал подобные неловкости и ставил О. С. в неприятное положение, — и она не оскорблялась, не капризничала никогда. Вас. Дим. говорил о ней под конец вечера в самых выгодных выражениях, и я нашел тут настоящее слово: «Ольга Сократовна редкая девушка».

Теперь кончил описание всех эпизодов, и я начинаю записывать разговоры с ней. (Но раньше иду пить чай и после съезжу к Колесникову за 1 № «Современника» для нее.)

Вообще, должен сказать, что мне она с каждым новым свиданием больше нравится. И с каждым новым свиданием в самом деле я больше и больше вижу в ней чудных, удивительных качеств сердца и характера, с каждым новым свиданием больше и больше вижу в ней редкого ума. О ее уме все говорят в один голос. Качества ее души ценит и Вас. Дим., и все знающие ее коротко, напр. и (даже он!) С. Г. Шапошников и Кат. Матв., которая может ценить, потому что сама весьма добрая девушка. Но я ценю их гораздо более всех, потому что — скажу прямо — во мне самом есть много благородства и нежности, потому мне вполне понятны благородство и нежность, вполне понятны чудные качества ее души. Прощай до 7 часов, мой милый дневник.

Писано 17, вторник, 12<sup>1</sup>/<sub>3</sub> час. утра.

Мы все воскресенье говорили с ней мало.

Sie konnte mir kein Wörtchen sagen,  
Zu viele Lauscher waren wach,  
Nur ihrem Blick ich konnte fragen,  
Und wohl verstand ich, was er sprach.\*

Она держала себя в отношении ко мне так, что показывала, что уверена, что я уж не нуждаюсь в доказательствах ее привязи ко мне. И я был совершенно доволен. Зачем при других выказывать внимательность, когда я уверен в этом. Разговоры наши были весьма кратки. Первый был у стола, который стоит на улице к гостиной ближе. На нем лежал гребешок, она взяла его и сказала Катерине Матвеевне: «Как же можно так бросать?» — «А вы часто и долго бываете перед зеркалом?» — сказал я. — «Я одеваюсь перед зеркалами только на бал; а так я только вхожу в зал взглянуть, когда уж одета, все ли так; волоса мне причесывает девушка, что ж мне быть перед зеркалами?» — Вот девушка! У нее нет даже зеркала, и это правда, я уверен в этом! И я решительно уверен в том, что сказала мне после Кат. Матв.: «Оля решительно не занята собою, хотя держит себя гораздо свободнее Елены Васильевны» (она перед этим сказала, что Елена Вас. весьма занята собою). Да, это совершенная правда.

Потом, когда пили чай (после первой кадрили; вторую я должен был танцевать с ней), мы ходили несколько времени по зале вместе, — она подошла сказать мне, что скоро будет и моя очередь отправиться к Анне Кирилловне на испытание — она поочередно вводит к ней молодых людей. — «Не думайте, чтоб это было для меня особенно скучно. Я вам говорю правду, что для меня всякий разговор потерял свой интерес, кроме разговора с вами. Если говорить не с вами, то для меня решительно все равно — говорить ли с Анной Кирилловной, Кат. Ник., Вас. Дим., Кат. Матв. — решительно все равно». Я сказал, что принес свой прежний дневник, петербургский, прочитайте ей несколько мест о том, как я жил

\* Она не могла сказать мне ни слова, было слишком много подслушивающих, я мог спросить только ее взор, — и хорошо понял, что он говорил.

в Петербурге. — «Я не могу прочитать его?» — «Нет, он так мною написан, что его нельзя разобрать». — «Ах, как это дурно. Зачем же вы принесли? Вы и так можете рассказать». — «Для того, чтобы вы не могли усомниться в том, что я буду читать правду». — «Я и так поверю». — «Я отыскал там романтическое место, — об одном вечере, на котором я был». — «О, если ваши воспоминания ограничиваются только этим, то нечего о них беспокоиться». — «Вы меня сильно огорчили, О. С., во вторник, когда я был у вас на минуту: вы сказали, чтоб я оставался до конца июня для Венедикта, — неужели вам это кажется важнее?» — «Но ведь вы сказали, что это дело устроится и тогда, если вы уедете? Конечно, это мне кажется важнее, потому что ведь все равно, когда вы ни уедете, вы не воротитесь от этого раньше?» — «Нет, все-таки это ускорит мой приезд». И она отвела меня к Ан. Кир. — «Но сейчас начнут танцевать, я должен танцевать с вами эту кадрили?» — «Все равно, протанцуете четвертую». — «Да будет ли четвертая?» — «Конечно, будет». — Четвертой не было, и я не танцевал с нею в этот вечер, но это для меня несколько не прискорбно, потому что мы с ней теперь обходимся как жених с невестой, как друзья, уверенные друг в друге, которым не нужно мелкой расчетливости в внимательности и любезности для того, чтобы понимать привязанность друг к другу.

Я отправился к Анне Кирилловне. Она говорила о том, что иные девицы бойки весьма, о том, что Ел. Вас. кажется выходит замуж неохотно. Я, чтоб угодить ей, говорил, что ведь, конечно, принудить бог знает как, но и на собственный выбор девицы часто нельзя положить. Она расспрашивала меня о Пасхаловой, я говорил много и оправдывал ее. Наконец — я просидел минут 25 — Кат. Матв. пришла вызвать меня танцевать третью кадрили. Тут-то мы говорили о том, что О. С. не кокетка и не занята собою.

После этого, через несколько времени, я говорил минуты две с О. С., после того, как Вас. Дим. сказал мне о том, как мать не любит ее до того, что не хотела отдать ее за Персидского: «О. С., а если ваши не согласятся, чтобы вы вышли за меня?» — «Кто ж? Разве один папенька». — «А Анна Кирилловна?» — «Этого нельзя ожидать». — «А как же, вас сватал Персидский и она не захотела?» — «Тогда я была ребенок, это дело началось, когда мне было 15 лет, и кончилось, когда мне не было почти 16. Она не хотела, чтоб я таким ребенком вышла замуж. Да и теперь она называет меня девочкою, говорит, что я еще не привыкла заниматься хозяйством. Я тогда еще училась. Она не хотела, чтобы я прямо со школьной скамьи вышла замуж. Да и я после еще училась, я училась до 17 лет».

Этот разговор совершенно удовлетворил меня. Кажется, насчет Анны Кир. я могу быть спокойным. А теперь спокоен и насчет Сократа Евгеньевича, потому что он не согласился бы только из любви к ней, из опасения, что я не составлю ее счастья; а теперь, когда буду знаком с ним, он увидит, что я хороший человек

и что, насколько от меня будет зависеть, она будет счастлива. Перед тем, как она отвела меня к Ан. Кир. и когда мы ходили, пока я пил чай, перед словами, что для меня все равно, с кем ни говорить, если не с ней, я говорил ей: «Я не влюблен в вас, вы только чрезвычайно мне нравитесь, как никто никогда даже в отдаленной степени не нравился. Я только убежден, что я буду вполне счастлив с вами. Я убежден решительно и в том, что вы не пожалеете никогда о том, что вышли за меня, кроме только одного; за одно я не ручаюсь — это за то, что у меня будет много денег». — «Да разве в деньгах счастье?» — «Деньги одно из условий счастья». — «Это так». — «Да, я только за это не ручаюсь. За все остальное я ручаюсь перед собою. Никогда с моей стороны [не] будет кроме этого ничего, что бы могло мешать нашему счастью». — «А с моей?» — «Я уверен, совершенно уверен, что и с вашей тоже никогда ничего, что бы когда-нибудь возмутило мое счастье». — «А если я буду виновна в чем-нибудь перед вами?» — «Я в том уверен, что никогда ни в чем». — «Почем знать? Конечно, я не могу быть виновна из каприза, но мало ли что может быть?» — «Нет, в вас я уверен совершенно, что вы можете быть только источником счастья».

Теперь иду к Колесникову. Остается только разговор перед отъездом.

Наконец, после как мы всё ходили с Кат. Матв., и Патр. стали собираться домой, О. С. подошла ко мне, взяла мою руку от Кат. Матв. и сказала ей: «Ты ныне совсем отбила у меня Николая Гавриловича». Все в этот вечер происходило так, как бы она имела полное право на меня, и мне не нужно ухаживать за нею. «Когда мы теперь увидимся с вами?» — сказал я. — «В воскресенье у Акимовых». — «Утром вы будете у Патрикеевых?» — «Буду». — «Я могу там быть?» — «Можете». — «А раньше?» — «Нет, раньше нельзя». — «Вы не будете у Патрикеевых на этой неделе?» — «Нет». — «Вы будете говеть, и вас можно видеть в церкви?» — «Нет, не буду говеть, потому что будет грязно, лошади нужны для папеньки».\*

Стали прощаться. «О. С., почему вы не хотите познакомить меня с Сократом Евгеньичем?» — «Если хотите, сейчас можно». (Я думал в самом деле, что она почему-нибудь не хочет, чтобы я был знаком с ним.) И она повела меня к нему в кабинет. «Папенька, рекомендую вам Николая Гавриловича Чернышевского». Он взял меня за руку и просил бывать у него. — «Я сам тоже люблю что-нибудь поговорить; я сам был в университете, да еще на казенном. Медицина мне надоела, и я люблю поговорить о чем-нибудь. Вот теперь читаю «Русскую историю» Ишимовой. Хорошо

\* «Так вы уедете в мае?» — «Даже раньше, если можно». — «И мы поедем на лето с папенькою в Харьков недели на две и воротимся в конце июля». И я с грустным, но покорным тоном сказал: «И выйдете там замуж». — «За кого же? Я там знаю всех. Я говорила вам, что там один помещик сватал меня, но я не пошла за него и не пойду».



написано и прекрасный язык». Я простился с ним и спросил О. С., когда я могу быть у него. Она сказала, что можно в четверг. «Достаньте мне 1 № «Современника» за нынешний год, там мне весьма хвалят одну повесть». — «Достану, только не знаю, скоро ли, потому что я не читаю ныне ничего». — «Достаньте поскорее». Мы стали прощаться. Она вышла на крыльцо, и я несколько раз поцеловал ее руку в передней (тут она сказала снова, что говорила раньше: «Как он целует — совершенно машинально», потому что я сам сказал эти слова, сказанные ею раньше) и потом на крыльце.

Я расстался с ней решительно довольный вечером, хотя другой на моем месте и не был [бы] доволен, потому что она избегала любезничать со мною, но для меня именно это и служило самым лучшим доказательством ее истинной привязанности и уверенности в моей привязанности.

Когда на другой день вечером Вас. Дим. был у меня, он сказал, что когда он просил ее быть на-днях у Патр., она спросила его: «Для кого вы хотите этого?» — «Собственно для себя, не для кого другого. Но почему вы так неласковы с Чернышевским?» — «Это могло б зайти слишком далеко. Я пошла бы за него, но он уезжает, и нельзя нам не остерегаться, чтобы не зайти слишком далеко». Я уверен, что это правда, что она в самом деле ставит меня выше и лучше всех, что она ценит мою привязанность.

Теперь понедельник. Я съездил за «Современником» к Колесникову, у которого он был, и решил сам теперь же отвезти им его, а не дожидаться до утра, чтобы передать через Венедикта. Но у меня было некоторое сомнение: понравится ли ей мое посещение, и кроме того, я был не причесан, не приглажен; нужды нет, зачем заставлять ее дожидаться лишние сутки? Да мне хотелось и показать ей мое рвение тотчас исполнять ее желания. Я взошел. Она сидела в зале и читала. Я не стал скидывать шубы. Она вышла ко мне к дверям передней и взяла книгу. «Уж достал? Как скоро. Какой милый, милый!» Я несколько раз поцеловал ее руку, не с пламенной пылкостью, а с спокойною нежностью. «О. С., я буду в четверг у С. Евг.». — «Будьте». — «В 6 часов?» — «Да, около вот этого же времени» — было около 6½ часов. Я еще несколько раз поцеловал ее руку.

Прости, моя милая невеста, будь счастлива, как я счастлив тобою. Прости до четверга и будь счастлива. Еще два дня, и опять увижу тебя. Прости, будь счастлива.

Да будешь ты счастлива!

Должен записать еще перемену в моих чувствах с тех пор, как я писал свои размышления. Теперь я перестал ревновать или завидовать, потому что убедился решительно в том, что она вовсе не кокетничает и что желание вскружить голову всякому, кто попадется ей в руки, как выражается Палимпсестов, решительно ей чуждо. Этого мало. Еще важнее. Я убедился, что никого она не предпочитает мне, что ее чувство ко мне, или, лучше сказать, ее мысли обо мне решительно серьезны и довольно глубоки, что она

привязана ко мне, или, лучше сказать, что я в ее глазах более всех достоин любви и что ни о ком, кроме меня, она не думает и никогда не подумает, кроме разве того случая, что серьезно и пламенно влюбится в кого-нибудь — вещь не очень вероятная, по ее собственным словам, которые должно быть решительно справедливы и в искренности которых я убежден точно так же, как в своих чувствах к ней. Теперь я решительно спокойно чувствую к ней чрезвычайно сильную привязанность. Прошло время беспокойства, время сомнений в том, может ли она верить мне, или может ли она оценить, как глубоко и нежно [я] привязан к ней. Теперь моя привязанность решительно тиха и спокойна, но чрезвычайно глубока, сильна и нежна. О, да будешь ты счастлива, моя милая невеста!

Писано 18 марта в 10<sup>1/2</sup> ч. вечера. Промежуток между свиданиями.

Когда я шел из гимназии, меня догнал Воронов и сказал мне, что «вы хотели быть у них в четверг — О. С. сказала, что их дома не будет до вторника: завтра именины Дарьи Кирилловны, они будут у нее; воскресенье и понедельник именины и рождение Лидии Ивановны».

Я посмеялся этому несчастью перед Вороновым, но это меня обескуражило решительно. Почему? Не умею хорошенько сказать почему. Может казаться мне — потому, что она вообще не дорожит случаями видеться со мною? Она решительно не имеет ко мне привязанности. Но я сам знаю, что это неправда, что она избегает случаев видеться со мною потому, чтоб еще больше не начали говорить о нас, уж и теперь говорят. Или — это ближе — зачем она сказала Воронову, что я хотел быть у них в четверг, зачем она передает мне через него? Она могла бы сказать это через брата. Воронов не так чист и не так привязан к ней, как Чесноков — зачем выбирать его посредником? Но и это не то — нет — скажу, что — весьма глупо — однако ближе всего к истине. Это то, что я влюблен в нее; мало того, что привязан к ней — мне нужно ее видеть; мало того, что я думаю, что лучшей жены для меня не может быть; мало того, что я думаю, что я буду счастлив — во мне потребность видеть ее теперь. Глупо, весьма глупо быть влюбленным — а между тем это правда. Правду я сказал ей, когда был у нее в четверг 12: «Я ожидал от себя подобных вещей, но чтобы, наконец, они были в таком размере, этого уж я не ожидал. Я ожидал, что буду делать глупости, но что буду делать такие глупости, на это уж я от себя не надеялся. А со временем вероятно это все будет еще в большем размере, чем теперь». Так и есть, так и выходит. Я все более и более увлекаюсь. Чем же, наконец, это кончится? До чего, наконец, это дойдет?

Ну Вас. Дим. сказал мне, что будет просить ее быть завтра у них. Если она не будет у них, я все-таки буду у С. Евг. Все равно, будет ли она дома или нет, увижу ли ее или нет. Но должно

быть я завтра увижусь с ней. А если завтра не застану ее дома, буду у них в пятницу или в субботу. Нет, воля ваша, О. С., вы доводите меня до решительно глупого состояния, до состояния влюбленности.

Да будешь ты счастлива, давшая мне столько счастья!

Писано 20 марта, 8 утра. Описание четверга.

Вас. Дим. Чесноков упросил О. С. быть у них в четверг, потому что Д. Гавр. именинница. Я пришел, когда их еще не было. Наконец приехали. Пошли мы из флигеля в дом. О. С. села на креслах с правой стороны дивана, Катерина Матв. на диване, я подле нее. О. С. была весьма грустна. Отчего? Она получила ныне письмо, в котором писали ей о смерти Рычкова и еще какого-то Виктора, «которого я любила», сказала она. Она на память сделала его портрет и показала мне. Она была чрезвычайно грустна, и в весь вечер часто у нее показывались слезы, наконец, она несколько раз принималась плакать, несколько раз уходила, чтоб посидеть одной. Я не сумел заставить ее высказаться мне и тем сколько-нибудь облегчить свою печаль. Она в весь вечер избегала меня. Только раз удалось мне говорить с ней и то так неловко, что она не поняла моих настоящих чувств. Это было вот как. Раньше, часов в 7<sup>1/2</sup>, она ходила по зале с Кат. Матв., я присоединился к ним. Кат. Матв. стала говорить с Ростиславом, я остался с ней. «Кто ж умер? брат?» — «Да», — сказала она, нехотя. «В таком случае эта печаль вовсе не так серьезна и долга, как я думал. Мы родных любим так, что потеря их не так глубоко огорчает нас. Вот если бы это был посторонний\*, дело другое», и т. д. Я говорил несколько минут в этом роде, но так глупо, что она приняла это за выражение ревности и ушла. Я после сказал это, что понял, что она думает, что я ревную, и уверял, что этого нет, что это только выражение одного сочувствия, по которому все, что радует ее, радует меня, и что огорчает ее, огорчает меня. Она не поверила. И скоро уехала. Я должен был остаться, чтобы не показать виду, что был только для нее; не посмел даже проводить ее. Что теперь делать? Ныне в перемену позову Венедикта к себе и поговорю с ним, если можно с ним говорить серьезно.

Что возбудила во мне ее печаль о смерти этого молодого человека? Нет, вовсе не ревность. Нет, одну только скорбь о ее скорби. Но правда и то, что я сказал ей: «Кроме того, что я огорчен вашею печалью, я огорчен еще тем, что вы не доверяете мне, что вы не видите, какое чувство возбуждает во мне ваша печаль о нем, и считаете это чувство ревностью».

Я после, когда она уехала, говорил с Вас. Дим. о наших с ней

---

\* Я был так глуп, что в это время в самом деле думал, что эта смерть только брата, которого, может быть, она любила. Но потом увидел, что умер, в самом деле, еще другой, и о нем она так грустит. Это было уже после.

отношениях и высказал свои намерения, не высказывая своего разговора с нею в четверг 19 февраля.

Что теперь делать? Вероятно, буду просить Венедикта попросить ее от меня, чтобы она была дома и поговорила со мною несколько минут, а сам пойду к Сокр. Евг. и посижу с ним, пока он поедет к больным. Постараюсь, чтоб она поняла мое настоящее чувство, мой настоящий характер. Едва ли это удастся сразу. Для чего я это сделаю? Чтoб она могла мне поверить, высказать свою печаль и тем несколько облегчить ее. И для того, чтоб она больше поняла меня и лучше увидела, что если она редкая девушка, то и я редкий человек, человек, с которым можно говорить все; который в состоянии выслушать, понять все; понять все, что ему говорят, так, как понимает это человек, который говорит ему, как чувствует это он сам; что я человек, который сочувствует всему, даже тому, что в других возбуждает не сочувствие, а ревность или зависть; что я человек с мягкою душою, открытой сочувствию для всякого горя, для всякой радости. А это для чего? Потому что за это более всего можно привязаться ко мне, это лучшая сторона во мне, и я хочу, чтоб она знала и оценила ее. Мало того: я хочу, чтобы наши отношения как можно скорее стали такими, какими они всегда должны быть со мною; что каковы бы ни были мои чувства, хоть даже любовь, хоть даже влюбленность, но что прежде всего — я друг; прежде всего я живу не своею жизнью, а жизнью тех, кого люблю. Установить эти отношения весьма важно для нашего будущего счастья.

Но быть у ней ныне, говорить с ней ныне — не слишком ли это рано? Не значит ли это надоедать ей? В таком ли она состоянии, чтоб могла рассудить и понять кого-нибудь и что-нибудь, кроме своей скорби? Так, рано; поэтому может быть и будет лучше, если она не захочет ныне говорить со мною; но я должен ныне же показать ей готовность говорить с ней, чтоб впоследствии, когда она будет в состоянии говорить со мною, она знала, что я всегда буду таков; что ревность, зависть ни на минуту не были в моей душе от этой скорби об умершем милом. Я думаю теперь о ней больше, чем раньше. Я всю ночь видел ее во сне, что было только один раз до сих пор, да и то во время какой-то бессонницы, продолжавшейся часа два. Теперь я спал весьма крепко, но всю ночь виделась мне она и думалось о ней. Я грущу ее грустью и грущу, что она до сих пор не оценила во мне лучшей моей стороны — способности быть поверенным, того, что со мною можно и должно говорить все.

Alle das Neigen  
Von Herzen zu Herzen.  
Ach! wie so eigen  
Schaffet das Schmerzen!

Но я сочувствую ей больше, чем когда-нибудь, потому что всякое несчастье, всякое горе заставляет меня более заинтересо-

ваться человеком, усиливает мое расположение к нему. Если человек в радости, я радуюсь с ним. Но если он в горе, я полнее разделяю его горе, чем разделял его радость, и люблю его гораздо больше.

Писано в 12 час. вечера. Пятница.

В гимназии я говорил с Тищенко, который сказал, что О. С. поехала заказывать себе черное платье и весьма грустила, много плакала это утро. Я через него передал Венедикту, чтобы он был у него в 12 часов. Мы пошли. И просидели около часу. «Венедикт Сократович, вы дитя или нет, с вами можно говорить серьезно? Вы будете смеяться или перескажете не так?» — «Говорите, перескажу так». — «Я хочу быть ныне у Сокр. Евг. Будет ли О. С. дома?» (я хотел в таком случае просить ее поговорить со мною несколько минут). — «Нет. Значит и вы не будете?» — «Нет, все равно, буду. Мне бы хотелось еще кое-что вам сказать, чтобы вы передали». И я стал говорить о том, чтоб он передал О. С., что она решительно ошибалась, приписывая мой вчерашний разговор чувству ревности (эти слова я однако не высказал, потому что он не знает, кажется, о ком она грустит), приписывая мое желание заставить вчера ее говорить какому-нибудь другому чувству, кроме того, [о] котором я говорил ей — желанию облегчить несколько ее горесть, давши ей возможность высказаться, и чувству скорби о ее скорби. Я чрезвычайно расстроен ее горем. Почти как она сама. Нет, конечно, менее, чем она, но все-таки весьма расстроен, так что не мог ни вчера, ни ныне ни читать, ни писать. Когда человек в горе, он занимает меня вдвое более. Я никогда не видел ее во сне, кроме того, что раз как-то мне не спалось и я только дремал и, конечно, думал о ней, как всегда думаю о ней. Но нынешнюю ночь я всю ночь видел ее во сне. — И т. д. О ее характере, в общих выражениях, так, чтобы она поняла их, если он будет пересказывать сколько-нибудь верно; для того, чтоб он теперь понял, я говорил о чувстве ревности, о том, что не могу ревновать ее, потому что слишком знаю ее; о том, что я с этой стороны настолько знаю, чтоб не нуждаться в расспрашивании; о том, что я человек, который прежде всего создан быть поверенным, которому можно говорить всё; что это замечали мне люди, которые не любят меня и которых я не люблю (я говорю о Пасхаловой), которые, однако, говорили мне, что «на вас можно положиться более, чем на кого-нибудь, с вами скорее будешь высказываться, чем с кем-нибудь». Я говорил о том, что без отношений к ней никогда не уехал бы из Саратова, потому что жаль было бы покинуть маменьку, и т. д. Не знаю, как передаст он и как она примет этот мой поступок — и как она поверит тому, что я пересказывал через него, но мне стало несколько легче, когда я высказался перед ним с надеждою, что он хотя сколько-нибудь передаст ей.

После обеда спал, потому что не шла работа на ум. Я решительно не мог работать. Проснулся в 6 почти, так что когда вошел

на двор к Васильевым, уже стояла лошадь для Сокр. Евг., и я не пошел. Отчасти не пошел и для того, чтоб успеть побывать у Шапошн. для того, чтобы выпросить маменьке березовки. Мне жаль ее, всего более жаль потому, что я покидаю ее, которая живет одним мною, покидаю для О. С., которая не чувствует ко мне никакой особой привязанности. Мне совестно перед ней, что я так мало люблю ее в сравнении с О. С., которая слишком мало любит меня.

Но все-таки в ней моя жизнь, в ней моя радость и скорбь.

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn,  
Das Mädlein sitzt an Ufer's Grün,  
Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,  
Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht,  
Das Auge vom Weinen getrübet:  
«Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer,  
Und weiter giebt nichts dem Wunsche nach mehr.  
Du Heilige, rufe dein Kind zurück,  
Ich habe genossen das irdische Glück,  
Ich habe gelebt und geliebet!»

Она говорила вчера: «Теперь я желала бы умереть. Это первая потеря человека, близкого моему сердцу». —

Es rinnet der Thränen vergeblicher Lauf,  
Die Klage, sie wecket die Toten nicht auf;  
Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust  
Nach der süßen Liebe verschwundener Lust,  
Ich, die Himmlische will's nicht versagen.  
Lass rinnen der Thränen vergeblichen Lauf,  
Es wecke die Klage den Toten nicht auf!  
Das süsseste Glück für die traurende Brust  
Nach der schönen Liebe verschwundener Lust  
Sind der Liebe Schmerzen und Klagen\*.

О, буду плакать вместе с тобою о твоём погибшем милом, моя милая, моя милая, милая!

И я плачу в самом деле.

Писано 26 марта 11<sup>1/2</sup> час. Буду короток как можно более, потому что некогда быть длинным.

Воскресенья 22 марта я дожидался с чрезвычайным нетерпением, чтобы встретить ее у Акимовых. Все-таки я не совсем рас-

\* Шумит дубрава, плывут облака; на зеленом берегу сидит девушка, волны разбиваются с силой, а она посылает стоны во мрак ночи, слезы туманят ее глаза. Умерло сердце, мир опустел, нечего больше делать. — Святая, призови свое дитя, я извела земное счастье, я жила и любила. — Напрасно лить слезы, скорбь не воскресит мертвых. Но скажи, что утешит и исцелит грудь после исчезновения радостей сладкой любви: я, святая, не откажу в том. — Пусть напрасно струятся слезы, и скорбь не воскресит умершего, но самой сладкой отрадой для скорбящей груди после исчезновения радости прекрасной любви являются скорби и сетования любви. — Шиллер, Das Mädchens Klage. 7 стих у Шиллера читается: Und weiter giebt sie dem Wunsche nichts mehr.



считывал на это, поэтому даже мало одевался. Но она была там. Наконец, танцуя кадрили, я ей говорю о моей скорби. Доказательства в тоне, каким я говорю, и на моем лице. После сидим с нею в гостиной, пока другие танцуют гротеск. Она говорит мне, что теперь менее печальна, чем раньше, чем ныне поутру; и она была, правда, печальна, но все-таки не до такой степени, как раньше. Я почувствовал, что у меня на сердце становится легче. Она, наконец, когда подали водку, начала шалить с Пригаровским, который был подле на диване (мы сидели на креслах к зале), заставляла его пить водку и грозила, если он не будет пить, вылить ему на голову, и вылила в самом деле целую рюмку. И я начал шалить: мешал ему пить, когда подавала она, и т. д. Две рюмки разлил, наконец, унес бутылку. И продолжал шалить. Она, наконец, рассердилась, принявши это за дерзость, преднамеренную с моей стороны. Может быть я и сделал в продолжение этих шуток какую-нибудь дерзость, но не замечая сам. Когда ушли в зал, она подала руку Палимпсестову и сказала, что не хочет говорить со мною. Я несколько приставал к ней, чтоб она говорила со мною, потому что мне хотелось узнать, чем я оскорбил ее, и кроме того спросить, почему она думает, что я не могу понравиться Анне Кирилловне, и что я думаю, что понравлюсь, поэтому буду у нее, если О. С. позволит. Но она не хотела говорить и наконец (это было, когда они с Палим. шли по зале к гостиной против дверей передней). — «Вы хотите быть со мною так же дерзки, как с Наташей — с нею можно, потому что она девочка, но с собою я не позволю так обращаться, потому что я девица. Я отвечу вот чем» — и она приподняла несколько руку (т. е. вы заставите меня ударить вас по щеке). Видя, что она решительно рассержена, я оставил ее. Но когда (тотчас после этого) стала уезжать, я на лестнице спросил, в самом ли деле я ее оскорбил.

Продолжаю писать в 9 часов, воротившись от О. С.

«Oui, je suis fâché»\*. — «Ну, это еще ничего, не в этом дело — оскорбил ли я вас в самом деле?» — «Oui, je suis fâché» — и она не хотела подать мне руки ни тут на прощаньи, ни после, когда стали разъезжаться (тут они поехали все вместе, я с Бусловским и Кат. Матв., после один). Это меня расстроило до крайности. Памятниками этого расстройства осталось недописанное письмо к ней и письмо к Саше, писанное во вторник, и еще то, что я не хотел ничего писать об этом в дневнике, пока дела не устроятся.

Наконец настало благовещение. Я все три ночи — на понедельник, вторник и среду — не засыпал до часу, двух или более, поэтому просыпался поздно и утомленный, поэтому проспал и обедню раннюю. Прихожу к поздней в шубе, смотрю — в левом приделе назади стоит Кат. Матв. и подле нее Полина Ивановна Рыч-

\* Да, я сержусь. Ред.

кова. — О. С. с первого раза я не заметил, но думал, что она должна быть тут, поэтому посмотрел еще раз — она стоит между ними, и когда я оборотился, спряталась за Полину Ивановну. О, так она перестала сердиться, потому что начинает шутить — я думал, что она серьезно и долго будет сердиться, — о, так я подойду к ним. Когда я не видел ее, я хотел подойти; когда увидел, что тут, не хотел, чтобы больше не оскорбить ее своими преследованиями, теперь увидел, что не сердится, поэтому решился подойти. — Я ушел домой, чтобы несколько одеться, потому что теперь ясно, они поедут к Патрикеевым, а Патрикеевы может быть позовут меня — воротился, стал и начал говорить с Кат. Матв., которая стояла слева. О. С. через минуту оборотилась и сказала, чтобы я не говорил. — Я отвечал, как обыкновенно, шутливо-равнодушным тоном: «Я говорю не с вами, для вас должно быть все равно». — «Да вы мне мешаете молиться, уйдите». — «Если вам неприятно, вы можете уйти, куда вам угодно» — и продолжал говорить с Кат. Матв. Она ушла и стала сзади меня, подле О. Андр., но решительно подле меня. Я продолжал говорить с Кат. Матв., которая сердилась и смеялась. О. С. начинала говорить со мною и страшно хотела своему разговору и моим ответам; наконец она сказала: «Что вы не молитесь?» — «Если вы приказываете, буду молиться», — и несколько раз она велела мне становиться на колени, молиться в землю. В это время опустил мне ее муфту Воронов, который стоял подле — верно, по ее приказанию — я взял муфту и, поклонившись в землю, поцеловал ее, потом поцеловал платье Кат. Матв. и сделал это несколько раз, пока взяли у меня муфту; тогда я, когда она велела мне становиться на колени, целовал платье Кат. Матв. и так шалил страшным образом во всю обедню, так что все, кто стоял кругом, смотрели на нас. Она шалила, спрятала в карман моего пальто свои ключи, перчатки, четки и т. д., наконец, что я заметил только, когда был у Кобылина, положила мне в карман папироску — где она ее взяла, бог знает. После конца обедни я спросил ее, будет ли она у Патр. вечером. Она сказала, что нет. Они поехали к Патр., я не зашел к ним утром, хоть и думал, что может быть зайду: вместо этого пошел к Малышеву, которого не застал дома, и потом просидел до 1½ у Кобылина. Анжелика Алексеевна сказала, чтоб я у них обедал; я пошел домой, стал собираться, чтобы быть у них в 3½; в это время принесли мне от Вас. Дим. записку, чтоб я был в 5 ч. у Патр. Я зашел к нему и сказал, что буду. От Кобылина отправился в ½ 6-го. Когда пришел, у Патр. были уже все, т.-е. Рычковы, Шапошникова, Чесноковы, наконец Ростислав, но ее не было в этих комнатах. Она была в задних, куда ушла должно быть нарочно, увидя меня в передней. Наконец, она вышла и, проходя мимо (я сидел в гостиной с О. Андр.), только поклонилась на мой поклон, но не подала мне руки.

Когда начинали танцевать первую кадрили, Кат. Матв. сказала мне, чтоб я просил О. С., потому что она хочет танцевать со

мной, — я подошел, но она сказала, что имеет кавалера. «Которую же вы хотите танцевать со мной?» — «Никоторой», но (вторую я танцевал с Афанасиею Яковлевной) в третью кадрили, когда я должен был танцевать с Кат. Матв., она сказала, что танцует со мной — потом она танцевала со мной следующую кадрили — их только я и танцевал, потому что другие кадрили она не танцевала, так что я не танцевал с Кат. Матв. Потом она сидела со мной в гостиной, сначала у окна, которое к зале, после на креслах, которые от дивана к зале — потом ушла играть на фортепиано; потом села с Лидиею Ивановной подле окна, которое к гостиной; я стоял подле, и, когда она уходила, садился говорить с Лид. Иван. Наконец, Лидия Ив. ушла, и мы сидели одни. После этого еще несколько времени мы ходили по зале. Что тут было сказано замечательного, буду писать как можно короче, потому что недостает времени.

Когда мы танцевали вторую кадрили, мы сидели подле двери из передней.

Тут я начал свое объяснение относительно воскресенья. Сущность разговора была в следующих словах, сказанных с самого начала: «Вы еще слишком молоды, я бы вас более любил, если бы вы были годом старше. Вы не понимаете значения того, что делаете, потому что в воскресенье вы сказали мне такие слова, которые имели на меня ужасное действие, — вы не понимали, как оно велико, вы еще не понимаете всей серьезности некоторых вещей. — Она говорила, что я был дерзок нарочно, потому что у меня все делается обдуманно, и что она не верит моим словам, что это было непреднамеренно, что я был дерзок нарочно, чтобы показать, что могу обращаться с нею как с другими. Потом мы сидели у окна, которое к гостиной; тут она сказала мне, что я один только раз оскорбил ее. — И что ж это такое?» — «Я это не скажу, вы должны знать сами». — Я начал припоминать, что было серьезного говорено мною ей, но не мог отгадать. Наконец, она сказала: «Когда вы были у нас и мы сидели в столовой». — Я начал перебирать весь разговор и, наконец, дошел до места — я женюсь на вас только потому, что думаю этим сделать вам услугу. «Вы сказали «почти» — я сказал, что хочу, прямо, можно опустить «почти» — это оскорбило ее (я думал, что это должно быть в высшей степени оскорбительно, но не заметил, что она этим оскорбилась — смотри этот дневник; размышления о ней) — это оскорбило ее, и она так долго не доверялась мне потому, что это оскорбило ее — как мало еще она откровенна со мною. — Я стал говорить о странности моих понятий, о том, что я хотя понимаю, что это оскорбительно, но готов всегда сказать это во второй раз, если понадобится, начал говорить о том, что мои понятия во многом странны, и разговор перешел к моим понятиям о супружеских отношениях. — «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» — «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай». — «Что ж бы вы тогда сделали?» — Я рассказал ей «Жака» Жорж-

Занда. «Что ж бы вы, тоже застрелились?» — «Не думаю», и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занда (она не читала его или во всяком случае не помнит его идей; ныне был у Костомарова, у него нет Жорж Занда, и сказал ей нынче об этом). Наконец, подошла Лидия Ивановна и сказала, что Ан. Кир. поручила поцеловать меня и сделать выговор, что я позабыл их, а раньше этого О. С. сказала мне, что Ростислав говорил Ан. Кир. накануне, что она мне нравится и что я хочу сделать ей предложение, и что Ан. Кир. сказала, что она будет согласна, и Ростислав требовал, чтобы и она согласилась, и что когда она ушла и легла в постель, Ростислав подошел к ней и приставал до тех пор, пока она сказала, что согласится. — «Так я буду у вас». — «Теперь можно бывать, потому что вам дано не только разрешение, даже приказание» — и наконец, когда прощались и все вышли в переднюю вместе, она сказала: «*Demain, à cinq heures\**». Итак, я был у них ныне в 5 часов и пробыл до 8<sup>1/2</sup>, сидел с полчаса с Сокр. Евг., 3 раза был у Анны Кирил., в разговоре с которой попадались намеки, на которые я тоже отвечал намеками. Теперь разговор с нею ныне. Я предугадывал, что она ведет к этому и что кончится тем, что она мне говорила, но не приготовился к этому, не обдумывал этого, потому что считал это не совсем вероятным после ее слов, что она не хочет этого (чтоб раньше моей поездки) — это было сказано ею мне у Акимовых.

26 марта. У нее (продолжаю писать 27-го, пятн. 6<sup>1/2</sup> час. утра).

Она решительно изменила свое обращение со мною — не стесняется ничем со мною, так же, как раньше не стеснялась, напр., с Вас. Дим., и теперь сама сказала, что в субботу я должен быть у них, а в воскресенье может быть у нее будет Кат. Матв., и тогда я снова должен быть. Но сущностью разговора были слова, которые она сказала мне, когда я воротился от ее матери: «Поедем в Петербург вместе». — «Я снова скажу вам — воля ваша». — «То-есть?» — «То-есть, как вам угодно, так я и сделаю, но дело в том, что это, по моему мнению, будет не совсем честно с моей стороны. Но если вам так угодно, я конечно должен сделать так, как вам угодно. Теперь некогда; когда я буду у вас в субботу, я выскажу вам неудобства этого; если вы и после захотите, я сделаю, как вам угодно». Раньше этого, когда она повела меня от Сокр. Евг. к Анне Кир., я сказал: «Если она заговорит о моих намерениях, что мне сказать ей?» — «Она этого не сделает». — «И я так думаю, но если заговорит, что мне сказать ей?» — «Что хотите». — «Но до какой степени я могу высказать ей?» — «Сколько хотите, но она этого не сделает». — «Но если она станет намекать, могу ли я говорить?» — «Даже не мешало бы». — Я сам все-таки не намекал. Но сама О. С., когда Анна Кир. стала просить меня про-

\* Завтра в пять часов. *Ред.*

читать стихи, развернула «Последний поцелуй» из Кольцова и сказала: «Ну, прочитайте же «На полгода всего мы расстаться должны». Я конечно отвечал на это: «И слава богу, что на полгода». — «Т.-е. не более?» — «То-есть не менее». — Потом она сказала Полине Ивановне, что скоро выходит замуж, при матери, — что и она уезжает отсюда, когда та говорила, что ей та сказала, что ей тяжело расставаться с детьми, и после уж добавила, что это она уезжает с отцом в Харьков. — Вообще она хотела заставить меня высказаться перед матерью яснее. Но я говорил только так, чтобы не опровергать намеков Анны Кир. и О. С., а сам не говорил более, чем они. Иду вниз работать.

Я говорил ей на это предложение: 1) у меня нет денег, но если вы решительно хотите, я возьму где-нибудь; 2) я все время буду работать — что ж вам будет за удовольствие и что ж вы станете делать? Она отвечала, что у нее есть деньги и что она сама будет работать в это время. Я ей говорил потом, что она не совершенно знает мой характер и что я один из тех людей, которые «кроют чужую крышу, а свою раскрывают», что я постоянно жертвовал своими родными для чужих, и рассказал свои отношения к Любиньке: «Я не думаю, что так я буду делать и с вами, но бог знает». Но, наконец, я не мог говорить обо всем, потому что уж было поздно, и выскажу ей в субботу, когда она велела быть в 4<sup>1/2</sup> час.

Что ж теперь будет? Вероятно, я женюсь до отъезда. В таком случае поедем в половине мая. А как это устроится? В субботу я буду говорить ей все: 1) денег нет; если угодно, она должна мне дать взаймы на устройство квартиры и т. п. — это будет стоить 1 000 или 1 200 р. сер.; 2) по приезде я буду работать весьма много, так что мало времени могу посвящать ей; 3) вообще мне не хотелось бы, чтоб она должна была беспокоиться о моих делах; мне хотелось бы, чтобы раньше, чем ее судьба соединится с моею, дела мои были устроены; 4) наконец, скажу и то, что эта женитьба будет предметом, который введет в сомнение моих петербургских знакомых относительно того, буду ли я работать как должно; 5) я не хотел бы, чтобы у нее был муж нуждающийся в ком-нибудь, неравный по положению своим кровителям.

(Но что ж такое наконец? Все-таки я буду рад, если это так выйдет.)

Что скажет она на это? Скажет, что все-таки она хочет выйти за меня теперь, до отъезда. Почему же? Я попрошу ее быть так же откровенною и прямою, как я. Что особенного в эти месяцы, что она не хочет исполнения моего желания раньше все устроить, потом жениться, чтобы не было у нее беспокойства насчет возможности жить и насчет моей честности и будущности. Что она скажет, я положительно не знаю, может быть какие-нибудь особенные факты, скорее только то, что ее положение невыносимо тяжело. Чем кончится разговор? Я скажу: «Когда ж я должен

просить вашей руки? сейчас или на святой?» Она вероятно скажет — на святой.

Что же окончательно? Я рад, что это будет так. Все мои сомнения и щепетильности, кроме всякого расчета о деньгах, вздор; конечно, неприятно, что я должен буду пользоваться ее приданым, но что же делать? Это конечно введет ее в сомнение относительно моей честности и бескорыстия — но что ж делать? Я не стал бы просить денег у нее, если бы мог взять их в другом месте, но где кроме? Я не знаю. Все-таки, сказавши это ей, я попробую сыскать в другом месте — только едва ли это удастся. Дело кончится тем, что я попрошу, если она почтет это возможным, у самого Сократа Евг. займа, и если так, то 2 000 р. сер. Сейчас принимаюсь составлять смету издержек на обзаведение.

О, моя милая невеста! Ты хочешь таких отношений, каких никогда не хотел бы я, но как тебе угодно, так и будет.

Продолжаю в 11 час., воротясь от Николая Ивановича.

Что будет? Вот что: свои противоречия не выставляю я все; я скажу только о денежных, скажу, что нужно 1 000 р. сер., что если она думает, что это возможно, я попрошу их у Сократа Евг. займа; если нет, то у нее (хотя это мне весьма не хочется). Она скажет, что мне сделать. Прежде всего, если она позволит говорить о деньгах с Сократом Евг., я попрошу указать мне, нельзя ли занять у другого, если нет, — у него. Одним словом, дело о деньгах будет решено завтра. Но я предложу ей сутки или сколько угодно времени на размышление. После ее ответа, который конечно будет: «Я хочу ехать теперь в Петербург», я скажу, что прошу позволения объявить о моих намерениях Сократу Евг. сейчас же, и скажу ему так: «Сократ Евгеньич, всматривайтесь в меня попристальнее, потому что я намерен просить руки О. С.». После этого, когда я скажу о своих намерениях своим? Я думаю, лучше это сделать через 2 или этак недели, по получении решительного согласия от Сократа Евг., потому что раньше безрассудно: к чему, если он не согласится? Он, конечно, согласится, но все-таки нужно раньше получить положительное согласие, потом объяснить своим. В каком духе будет объяснение с нашими? Раньше скажу папеньке, и если он не заставит, то не буду входить ни в какие подробности, если заставит, — объясню, почему с нею я буду счастлив, с другою нет; объясню свой характер и то, какая жена мне нужна. Если не поймет и не согласится, скажу свое решение; скажу как можно мягче, что я решил не пережить этого дела, если они не согласятся. Но я не думаю, чтобы не согласились. Только он дурного мнения о Сократе Евг., — что за нужда, это не касается ее — а если он слышал о ее свободном обращении, и о нем объяснюсь. Одним словом, отношения к своим меня теперь решительно перестали тревожить. Они согласятся; так или иначе, но согласятся, и я думаю без большого противоречия. А если папенька скажет: «дай посмотреть нам?» Я скажу: нет, сейчас согласие; ни суток отсрочки. Пожалуй, несколько минут на размышле-



ние, но без совета с кем бы то ни было, даже с маменькою. Со стороны Анны Кир. полное согласие уже видно приглашением бывать у них почаще, зная, зачем я бываю.

После этого объяснения с ней и вследствие его с Сократом Евг. я поговорю с нею о Николае Ивановиче и Лидии Ивановне.

Чем же кончится дело? Тем, что я поеду отсюда с О. Сокр. Поедем, если можно, прямо из церкви, но на это не согласятся; в таком случае после обеда; свадьба будет поутру; я думаю, она согласится с этим, потому что она не любит церемоний, как и я.

Каковы теперь мои мысли, мои чувства о ней?

Во-первых, какое впечатление произвели на меня ее вчерашние слова? Самое успокоительное. Теперь я буду вне опасности потерять ее. Теперь я буду вне своей обычной мнительности о том, что будет, будет ли так, как мне представляется и хочется.

Но мои дела в Петербурге не устроены? Да разве, говоря рассудительно, я могу сомневаться в том, что я буду иметь возможность доставить ей жизнь с такими же удовольствиями, как пользуется она здесь? Мои мысли о том, что не понравится Никитенке (да он мне не нужен) и Введенскому, что я женился? Да это вздор. Спрашивать мнения Введенского о том, когда и на ком мне жениться? Я не позволю и говорить себе об этом, скажу только: по моему характеру так было нужно, без этого я не выехал бы из Саратова. Более ничего не скажу и после этого ничего не позволю себе сказать. Помешает ли моим делам, что я приеду женатый? Разве магистерский экзамен начну я в сентябре вместо мая, да в мае трудно будет и начать; зато я не буду торопиться, и дело пойдет гораздо лучше и основательнее. А магистерский экзамен раньше или позже несколькими месяцами все равно, до или после каникул. Да во всяком случае он и был бы кончен после каникул, потому что защищение диссертации оставалось бы до послеканикулярного семестра во всяком случае.

Будет ли она мешать мне работать? Напротив, тут я буду решительно вне всяких развлечений и буду работать до 6 часов каждый день, сидя подле нее.

Когда будет свадьба и когда мы поедем? В конце мая или начале июня. Когда будет объяснение с нашими? Перед самою свадьбою, если они сами не заговорят раньше об этом, если до них не дойдет решительно слухов.

Какие теперь мои чувства? Так рассудительны и чисты от всяких грязных расчетов, которых раньше я ожидал от себя, что я дивлюсь. Радость моя оттого, что мой союз с ней верен, а не оттого, что я буду ее мужем несколькими месяцами раньше, не от нетерпения чувственности. Чувственная сторона теперь во мне решительно не имеет никакого влияния в сравнении со стороною душевного счастья и рассудительной, спокойной надежды на то, что моя жизнь определяется наилучшим образом, как только мог я представить.

Завтра допишу эту тетрадь до того, как пойду к ним, потому что хочу начать следующую тетрадь окончательным объяснением с нею.

О моя милая невеста! Источник моего счастья! Ты будешь правительницею нашей жизни, и моя жизнь будет счастлива, потому что будет посвящена заботам о твоём счастье.

Писано в субботу в 8½ утра.

Влюблен ли я в нее или нет? Не знаю; во всяком случае мысль об «обладании ею», если употреблять эти гнусные термины, не имеет никакого возбуждающего действия на меня. Я только думаю о том, что я буду с нею счастлив и что в ней столько ума и проницательности, что она не будет раскаиваться, что вышла за меня, потому что поступки ее весьма хорошо обдуманы, потому что она довольно понимает меня и чего не знает еще в моем характере, то, я надеюсь, не изменит ее мнения обо мне к худшему, потому что особенности и странности моего характера, который нельзя понять и которому нельзя верить иначе, как после долгого знакомства, — мои хорошие стороны.

Но она мне весьма нравится. Если б она была не хороша собою — а мне хорошенькими кажутся весьма немногие и, собственно говоря, никто, кроме нее, из тех девиц, которых я встречал здесь; Афанасия Яковлевна, впрочем, тоже имеет миленькое лицо, — то, конечно, я не мог бы так быть привязан к ней, как теперь: мне нужно, чтобы я мог любоваться на свою милую. Если бы она не была так хороша, я не очаровался бы ею, но все-таки ее красота, хотя весьма важна для меня, все-таки важнее, гораздо важнее для меня качества ее сердца и характера, и когда я думаю о блаженстве, которое ожидает меня, конечно, тут является и чувственная сторона этого блаженства, но гораздо сильнее занимает, гораздо более очаровывает меня сердечная сторона ее отношений. А каковы будут эти отношения — она третьего дня сказала: «У нас будут отдельные половины, и вы ко мне не должны являться без позволения». Это я и сам хотел бы так устроить, может быть думаю об этом серьезнее, чем она; она понимает, вероятно, только то, что не хочет, чтобы я надоедал ей, а я понимаю под этим то, что и вообще муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене. Она сказала на благовещение у Патрикеевых: «Я не буду хорошей женою, потому что не умею ласкаться»; потом часто говорила, что терпеть не может целоваться — и это у меня точно тоже — особенно моя постоянная мысль и главная черта в моем характере в этом отношении, что я не люблю выказывать свои чувства при ком бы то ни было постороннем и что единственная нежность, которую я хотел бы позволить себе при третьем лице в отношении к жене — это пожатие руки. Целоваться и я не люблю; в сильном движении нежности я готов поцеловать, но только в сильном движении нежности. Вместо этого я любил бы целовать руку, но это снова только в неж-

ных движениях, а [не] при всяком случае, как только случится быть одному подле другого, — но и это я хотел бы почти совершенно изгнать, потому что это показывает, что с женою обращаются как светский властитель Японии с своим духовным императором — за рабское положение в сущности старается вознаградить божеским почитанием по наружности. К чему у меня есть порывы, так это к тому, чтоб прижимать к сердцу. Но и это только в порывах нежности. Но просто прижать к сердцу, какжимают руку. Что касается до чисто чувственных отношений, она в этом отношении не знает еще себя, как и я не знаю. Я довольно сладострастен, вероятно, но не в такой степени, чтобы требовать слишком часто, — это будет зависеть от ее чувств. Судя по ее темпераменту, она должна быть очень сладострастна, потому что ее темперамент огненный, но вместе с тем совершенно холодна по наружности. Если можно так сказать, я представляю себе ее так: решительно холодная внешность; под этой внешностью в глубине огонь чувственности, который может быть совершенно почти неизвестен и ей самой. Если она так сладострастна, буду ли я в состоянии удовлетворить ее? В моем темпераменте довольно сил, так я думаю буду в состоянии быть ей таким физическим мужем, каких немного, если понадобится. — Это тем более, что силы мои совершенно свежи: я не испытывал сифилиса, который так ослабляет половые органы. Но ее будет вероятно сдерживать ее любовь к нежничанью.

Как это будет совершаться у нас? Я желал бы, чтоб это устроилось так, чтоб обыкновенно я бывал у нее по ее желанию, чтоб инициатива была не так часто с моей стороны. Но это противно всем обычным отношениям между полами? Что ж такого? У нас до сих пор все наоборот против того, как обыкновенно бывает между женихом и невестой: она настаивает, я уступаю. Обыкновенно говорит невеста жениху: «Друг мой, я в твоей власти; я не могу противиться тебе, но, прошу тебя, не злоупотребляй этой властью». У нас наоборот — я ей говорю: «Я в вашей власти; делайте, что хотите» — и она говорит: «Я хочу быть за вами». — «Очень хорошо, я согласен и прошу вашей руки». — «Но я не хочу откладывать, извольте сейчас». — «Очень хорошо. Я готов сейчас быть вашим женихом». — «Но я не хочу, чтобы это было в сентябре — это должно быть раньше вашего отъезда». — «Очень хорошо, раньше моего отъезда». — Почему ж не быть так и в половых отношениях? Обыкновенно жених ищет невесты, подходит к ней, заговаривает с нею — я наоборот, я дожидаясь, чтоб она подошла ко мне и сказала: «Говорите со мною, сидите со мною». Так и тут — может быть и будет так: «Вы можете ныне быть у меня». — «Покорно благодарю, О. С.».

Как мы будем проводить день? Все время, когда я дома, я буду постоянно сидеть подле нее, пока ей будет угодно. Я буду работать подле нее. Сколько я буду работать для своих ученых целей? Часа 3 в день, не более, потому что и теперь никогда почти не

работаю постольку, и все-таки у меня столько познаний, как у многих. А писать для получения денег? Может быть более 3 часов в день. В первые месяцы, пока у меня не будет уроков в корпусах, я буду таким образом работать часов до 2; после гулять вместе с нею, после обеда снова час — два, до 6, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>; после снова я ее собеседник. О чем мы будем говорить? Я буду ее учитель, я буду излагать ей свои понятия, я буду преподавать ей энциклопедию цивилизации. Тут у нас явится курс гораздо более полный, чем какой теперь у меня в гимназии. Этого достанет на несколько лет, на 3—4 года. В материале для разговора таким образом не будет недостатка. Мы будем, наконец, вместе читать. Я сам для этого преподавания повторю многое, приобрету познания во многом, чего теперь не знаю. Так мы будем учиться вместе. Может быть она будет помогать мне и в работах, может быть она будет сама писать или переводить. Каковы будут мои отношения к ней в социальном смысле? Я желал бы, чтобы мы, наконец, начали говорить друг другу «ты»; особенно, чтобы она говорила мне «ты»; сам я лучше хотел бы говорить ей — «вы». Звать ее я буду всегда полным именем, всегда буду звать ее Ольга Сократовна. Она может быть захочет звать меня полуименем, но едва ли, и вероятно, если будет, скоро оставит это. Одним словом, наши отношения будут иметь по внешности самый официальный и холодный характер; под этою внешностью будет с моей стороны самая полная, самая глубокая нежность.

Теперь наши отношения к родным ее и моим. Какова она будет с маменькою? Не знаю и не хочу знать. Если по внешности она обходительная дочь своей матери, тем более будет она хороша с моею маменькою. Маменька если приедет в Петербург, будет вмешиваться в хозяйственные дела; если О. С. угодно, пусть будет так. Если не угодно, нет. В характере маменьки лежит непременно вмешиваться. Но я буду тверд, и если О. С. не захочет, не допущу маменьку говорить об этих вещах ни ей, ни мне. Я скажу, что не желаю говорить об этом, и только. И не буду говорить, и не буду слушать. И только. Таким образом отношения к маменьке не будут иметь никаких последствий, неприятных для нее. Во всяком случае я поставлю себя и ее в такие отношения к маменьке, что маменька не будет никогда вмешиваться в наши личные отношения и не будет никогда говорить ни слова недовольства относительно того, что она делает и как держит себя. А как она будет держать себя? Весьма бойко, но шалить будет меньше, чем теперь; она будет держать себя несколько похоже на Анну Никаноровну, хотя не в том роде.

У папеньки такой характер, что он никогда никому не может служить помехою.

Наши отношения к ее родным? Это зависит решительно от нее. Главные отношения к Венедикту. Но Анна Кирил. не отпустит его от себя, как сказала мне в последний раз; поэтому эти отношения не могут быть обременительны ни для нее, ни для меня.

Но вообще отношения наши к ее родным будут решительно зависеть от нее.

Наши отношения к Саше? Это все равно, как ей будет угодно. Жить вместе или врозь, все равно, как лучше покажется для нее. Только одно, — чему весьма рада будет, конечно, и она, — Саша будет весьма часто бывать у нас, будет весьма часто обедать и пить вечером чай, всегда, когда у него свободный вечер.

Отношения к знакомым? Выбор кружка будет решительно зависеть от нее. У меня только два семейства, с которыми я буду знаком тесно — Срезневские и Введенские. С женою Срезневского она может познакомиться или нет, это смотря по обстоятельствам и отношениям моим к жене Срезневского и по тому, будет ли ей приятно это знакомство. Ал. Иван. Введенскую она будет принимать хотя изредка по вечерам, если не захочет быть дружна с нею — чего, вероятно, не захочет, потому что едва ли Введенская ей очень понравится — слишком щепетильна. Вероятно, ей понравится Городков, может быть с ним она будет знакома домами. Но остальные знакомства зависят от нее. Если ей понравится кружок Введенского, он будет бывать у нас каждую неделю. Если нет, только раз в месяц, и она может бывать при них в семейных комнатах; но, конечно, будет бывать, потому что в ней есть настолько людскости. Сама она какого рода людей наберет в свои знакомые? Вероятно, более дам и девиц, но несколько человек и мужчин, из которых едва ли хоть один будет для нее коротким знакомым. Во всяком случае кого ей угодно и как и когда ей угодно, так она и будет принимать. Я в этом деле не помеха.

О моя милая невеста, ты будешь настолько довольна своею жизнью, насколько это зависит от моих отношений к тебе.

Итак:

Ныне решительное объяснение о том, что заставляет ее хотеть ехать со мною теперь же. Объяснение о том, откуда взять мне денег. Вероятно, она согласится, чтобы я попросил взаймы у Сократа Евгеньича или попросил его сначала быть лучше только моим посредником при займе денег у кого-нибудь.

Вопрос о том, не ныне ли же объявить о своих намерениях Сократу Евгеньичу.

Вследствие всего этого поездка в Петербург вместе, как скоро путь будет хорош, т.-е. около, вероятно, 10 мая. Перед этим накануне или в этот самый день свадьба. За два, за три дня становлюсь официальным женихом. Может быть за неделю. К свадьбе никаких приготовлений, если можно. У меня шафером Василий Дмитриевич и, если ему будет угодно, Николай Иванович. Но, если можно, в один день и его свадьба, если он захочет жениться на Лидии Ивановне.

Вот приближается новый решительный момент наших отношений, и я встречаю его с таким же полным спокойствием, с каким встретил объяснение девятнадцатого февраля.

Я предаюсь твоей воле, моя милая. Таков мой характер. Ты властительница моей жизни и моих поступков. Управляй же мною неограниченно. Ты надеешься быть счастлива со мною. Хорошо. Твоя надежда рассудительна и справедлива. Веди меня к счастью, которого так много уже дала ты мне, и будь сама счастлива.

Желаю тебе счастья и делаю все, что ты считаешь нужным для твоего счастья.

Вполне преданный тебе, повторяю: желаю тебе счастья и делаю и всю мою жизнь буду делать все, что ты считаешь, что ты сочтешь нужным для твоего довольства, для твоего счастья.

1853 года 28 марта, 9 часов 50 мин. утра.

Я повинуюсь тебе..

Я жду своего счастья от своих отношений к тебе.

Я нахожу в них и теперь все свое счастье, всю свою радость..

Ты будешь довольна и счастлива, насколько это в моей власти..

Ты будешь счастлива.

Как весна, хороша  
Ты, невеста моя.

И да будет — и будет, сколько это зависит от меня — вся жизнь твоя светлым днем весны.

Прощай до вечера.

Будь счастлива.

Писано 29, воскресенье, перед тем, как идти к поздней обедне, после которой объяснение с папенькой.

28-го. Долго мы сидели вместе с другими — с Лидией Ивановною, с Ростиславом; наконец, из комнаты Ростислава мы ушли в ее комнату и сели там на кровати, которая стоит у окна к комнате Ростислава. «Что ж вы скажете, О. С.?» — «Я раздумала, это не нужно». — «Почему ж?» (мне хотелось, чтоб было так, как она говорила в четверг). — «Я не хочу, чтоб вы занимали денег. Я не хочу, чтоб вы становились в затруднительное положение». Через несколько времени: «Я боюсь, что буду вам в тягость». Я сказал ей, что денег достану, что это пустяки. Что в тягость мне быть она не может. — «Как же, я буду мешать вам работать». — «Я не так прилежно работаю. Я весьма мало работаю. Если бы я работал, как другие, я знал бы не столько, как теперь. У меня одно сомнение — это то, что связываю вашу жизнь со своей, когда моя еще не устроена», и т. д. в этом роде. «Мне бы этого даже хотелось, если б совесть не запрещала мне, потому что у меня слишком мнительный характер, что я не спокоен, пока дело не кончено решительно. И теперь меня будет беспокоить мысль, что, возвратившись, я не застаю вас». — «Нет, теперь это не будет, потому что я начинаю понимать ваш характер и любить вас». Это было сказано так, как никогда еще. И мало-по-



малу ее головка склонилась на мое плечо. Руки наши лежали одна в другой; я беспрестанно целовал ее руку. «У меня только одно сомнение — это деньги; за все остальное я отвечаю. Хотелось бы совершенно устроить все дела, приготовить квартиру, меблировать ее и тогда приехать вместе с вами к всему готовому». — «Это ничего: я готова потерпеть, пока устроится, жить кое-как, потому что у меня будет верный друг». И я, наконец, сказал: «О. С., позвольте поцеловать вас». Она отклонилась в противоположную сторону. — «Нет», — снова наклонилась на мое плечо. «Я этого не сделаю», — и она наклонилась снова; да, она знает, что я не сделаю ничего, что было бы неприятно ей. И почему я хотел поцеловать ее? Не из удовольствия, а чтобы это было залогом наших отношений. «Вы говорили что-нибудь своим?» — «Нет; их мнение для меня в этом деле вовсе не интересно, они не могут быть судьями по своим понятиям». И я говорил о том, что может быть они будут несколько недовольны, потому что может быть слышали что-нибудь о том, что она держит себя вольно, и потому, что не любят Сократа Евгеньича и готовы защищать Анну Кир. «Поговорите с ними и с маменькою. С папенькою я сама поговорю. Раньше со своими, потом с маменькою. Со своими завтра, в понедельник с маменькою».

Я буду говорить с папенькою, потому что его легче склонить и его согласие будет иметь влияние на маменьку. Не думаю, чтобы было такое сопротивление от него, чтобы заставил меня высказать мое намерение не пережить этого. Маменька согласится с папенькою. Поговорю после обедни, потому что не хочется волновать его перед обеднею, которую он должен служить. Итак, около 12 часов утра дело будет окончательно решено с нашими. С папенькою буду говорить весьма мягко и просить и объясняться, насколько можно объясниться. Потом он призовет маменьку и скажет ей: «Николай выбрал себе невесту, что ты скажешь?» — «А вы что?» — скажет маменька. «Я должен согласиться, стеснять нельзя», и маменька скажет то же. Иду к обедне.

2½ часа. До обеда было некогда. Поэтому говорил с папенькою только сейчас, решительно спокойно. Папенька сказал только, что будут ли у меня средства содержать ее, как она привыкла. Я сказал, что думал об этом, будут. Он сказал, что не будет мне мешать. Я просил поговорить об этом с маменькою и ныне же, потому что, сказал я, если маменька станет расспрашивать, ей могут наказать бог знает что, потому что о ней говорят много дурного и многие ее не любят. Я говорил с папенькою спокойно и совершенно откровенно о том, что мне в ней нравится — главное характер, твердый и рассудительный. Говорил о том, что ее не любят мать и брат. «Да хорошо ли ты ее узнал?» — «Очень хорошо, потому что такие были разговоры и главное я смотрел, как и что она делает». Не сказал, конечно, наших отношений. Просил, чтобы переговорил с маменькою ныне же. Разговор продолжался минут 20, решительно хорошо, лучше, чем я ожидал, потому что

то, что о ней говорят дурно, не вызвало никакого замечания с его стороны. Папенька ее видел несколько раз, но решительно нисколько не знает. До сих пор все идет хорошо. Маменька тоже согласится с папенькою. Теперь иду к губернатору<sup>239</sup>, по возвращении от него может быть найду их уже переговорившими. Я решительно спокоен. С моей стороны не будет нужно никаких усилий, потому что не будет несогласия и от маменьки. Маменька согласится.

*Час ночи.* Сейчас кончился разговор безусловным согласием маменьки. Он продолжался весьма долго. Когда я спросил папеньку, пришедши от губернатора, он сказал, что маменька не стала ничего отвечать, что поэтому я должен говорить с ней сам. Я после ужина в своей комнате начал говорить (она все говорила, что ей хочется спать, — немного хитрила, чтобы избежать этого разговора, вообще она немного хитрит и сначала было чуть не провела меня, но я вообще не поддамся в таких случаях, потому что, несмотря на все видимое согласие, не окончу разговора без того, чтобы не сказать: так вот что — изложу самым определенным образом свое мнение — так или нет?). Когда я сказал намерение и имя, она сказала: «Весьма рады мы, что из такого почтенного семейства, с которым хотя незнакомы, но уважаем, что твой выбор пал в хорошую сторону (это меня весьма обрадовало); чем будешь жить?» Я начал говорить; она начала говорить об обязанностях мужа, совершенно как говорила раньше, так что будет именно такою свекровью (кроме своих вмешательств, могущих быть, но которые я, конечно, остановлю), как я представлял ее О. С. Потом вниз<sup>240</sup> — «должно переговорить с папенькою». Когда пришел папенька, она стала говорить, что раньше хочет видеть ее — она и наверху говорила: «Почему ты не хотел познакомиться?» Я сказал, как радовался, когда собирались к Анне Кир., и как звал к Акимовым. — «Нет, раньше скажите, что согласны, так и увидите» — и тут-то началось длиннейшее и утомительное прение — «раньше должна видеть» — «раньше должны согласиться», — почти только в этих словах. Наконец, она легла; мы остались с папенькою, и я ему в общих намеках сказал, что, если не согласится маменька, это будет иметь ужасные последствия для меня; я предчувствовал, что настою на своем, но если бы не настоял, если бы, как, между прочим, говорила маменька: «Переговорим еще поутру лучше» — то я может быть для примера, как залог будущего, сочинил бы с собою какую-нибудь легкую операцию вроде жены Брута (и тут ядовитые насмешки над собою: не могу не смеяться над своею решимостью и над своим прежним поведением, которое сделало было то, что эти глупости могли понадобиться). Она легла, я снова начал приставать, даже намекал на то, что это будет иметь для меня такие важные последствия, каких и она не ожидает, говорил, что если не согласится, то это будет страшною печалью на всю мою жизнь, наконец сказал: «Итак, одно слово: согласны или нет? Если не согласны, я не буду больше ни слова говорить об этом деле». — «Согласна». — Тут начинаются уверения в том, что она «обле-

чила меня от страшной тяжести». Она снова говорила о важности этого шага, что должно было посоветоваться; я сказал, что нельзя в этом деле, и т. п. Но в другой раз даже не повторил вопроса, согласны ли, и более не буду говорить и спрашивать о согласии. Может быть снова понадобится возобновить разговор в этом роде, но уже не я начну его и завтра же скажу Анне Кир. о намерении маменьки, как скоро позволит здоровье и погода, приехать к ней с просьбою в известном роде.

Теперь дело решено, и я ложусь спать спокойно. Завтра от Кобылиных возвращусь домой и из дому пойду к Анне Кир., чтоб не показать вида, что иду говорить с ней, когда маменька не ожидала — нет, она должна видеть, куда иду, и перед уходом скажу ей, что буду говорить Анне Кир. На ответ вызывать маменьку не стану. Если будет ответ сколько-нибудь несогласный, снова начну разговор и кончу его не иначе, как получением согласия, если снова вздумает колебаться.

Одним словом: хотел, чтобы ныне мне дали решительный ответ, и настоял на своем.

Я могу быть тверд и неотступен в своих требованиях, когда захочу. *Quod erat demonstrandum*\*.

Теперь нет препятствий ни с чьей стороны, моя милая невеста.

Мне теперь никто не может препятствовать. Теперь ты моя невеста, невеста перед моими родными.

Расположение духа моего в этот день, который был днем ожиданий. И ожиданий большего сопротивления, чем какое было, и большей неуступчивости с моей стороны, чем я ожидал от себя. Несколько раз перед началом разговоров, лучше сказать — при ожидании минуты для разговора, билось сердце, но мало. Так у меня тверда воля, если нужно. Даже биение сердца сдерживается, если я захочу. Разговор веден совершенно спокойно, так как я постоянно в этом длинном и тяжелом разговоре с маменькою сдерживал себя.

Зачем я так безжалостно вынуждал маменьку отказаться от своего желания увидеть раньше, чем согласиться? Так мне казалось нужно, во-первых, для обеспечения согласия, во-вторых, для успокоения себя: что я хочу как сделать, так и сделаю, вот что я хочу. Совесть мучает ли меня за эту безжалостность? Нет. Я знаю, что должен был бы совеститься этой неуступчивости, настоятельности, но так было нужно. Что же делать? Я поступил, как должен был поступить.

До завтра, моя милая, невеста перед моими родными, а уж не перед одним мною.

Завтра увижусь с Анною Кирилловною.

До завтра же, моя милая невеста.

Писано в понедельник 29 марта, 9 час.

---

\* Что и требовалось доказать.

Когда стал собираться тотчас после обеда, маменька позвала меня в гостиную. — «Что же ты хочешь сказать?» — «Вот что». — «Да погоди, разве нельзя мне раньше увидеть?» И снова прежняя история, которая продолжалась более часу. Я, наконец, сказал: «Да или нет; если нет, не пойду и не буду говорить больше ни слова». И ушел и сел писать. — «Хорошо, подожди папеньки от вечерни и попроси у него благословения». И [я] дождался; мне было весьма тяжело, что я заставляю ее ждать. Это продолжалось до 6 час. Наконец, благословение дано, и я отправился. Она в комнате Ростислава, у них Воронов. Отправляюсь через несколько времени к Анне Кирил. Когда ушли другие, кто тут сидел, я через несколько времени говорю ей: «У меня к вам, Анна Кирилловна, важная просьба». — «Какая?» — «Слишком важная». — «Да я для вас все сделаю». — «Но вы меня слишком мало знаете». — «Говорите, нужды нет». — «Мне весьма нравится О. С., я прошу вашего согласия. Маменька хотела б сама быть у вас с этой просьбой, но ей нельзя, потому что она не выходит из комнаты, и я должен говорить от ее и от своего имени». — «Весьма рада; вы говорили с моим мужем?» — «Нет, потому что ваше мнение важнее». — «Я переговорю с ним. С моей стороны полное согласие». Тут вошла Лидия Ивановна и сидела довольно долго. Когда она ушла, я снова повторил: «Так ваше согласие?» — «Я согласна». Я несколько раз поцеловал ее руку и простился. Вошел кто-то. «Желаю вам полного исполнения всех ваших желаний». Какова мать! Ни о чем не стала расспрашивать, ни о моих средствах, ни о том, когда и как, ничего.

Я вышел, и несколько времени нам мешала говорить Лидия Ивановна. Наконец, О. С. сама села подле меня, рука в руку — я рассказал ей коротко, что я говорил с Анною Кирил. «Ну, О. С., глупого парня выбираете вы себе; вообразите, с первого слова маменька сказала, что весьма рада; но прибавила, что желала бы раньше вас видеть, но мне вошло в голову — завтра непременно, и я не отстал и не согласился раньше показать ее вам. Видите, я глупый человек, — не щажу никого, может быть не пощажу и вас, если так будет нужно; не думаю, однако, чтобы это простерлось на вас, но почему знать? Не думаю все-таки, чтобы простерлось».

Она сказала, что ждала меня в 5, 6, но раньше я уж сказал ей сам, отчего так поздно: дождался папеньки от вечерни. «Когда же, О. С., это зависит от вас — теперь или по приезде?» — «Я вам говорила». — «Т.-е. теперь? Хорошо, завтра постараюсь обделать дела», — т.-е. я думал попросить у Костомарова 1 000 р. сер. — «А в четверг скажите мне, потому что в среду я буду у Гуськовой». — Дружно, дружно сидели и ходили мы рука в руку. Вошли другие, и начался общий разговор. Она сняла [нагар] со свечи. «Не снимайте, не будете нравиться», сказал кто-то. «Я и не хочу никому нравиться, кроме одного». — «О. С., — сказал я после всего, — вы будете решительно управлять моими делами; чрезвычайно

немного дел, в которых не от вас будет зависеть решение, и не знаю, представится ли случай к подобным делам; знайте это и готовьтесь распоряжаться моими делами. Я постоянно буду делать все, что вам будет угодно, поэтому сама судите, что лучше мне делать, и управляйте мною». Раньше этого, когда говорил о разговоре с нашими, я сказал, что маменька действительно будет любить ее больше, чем меня. «Все мои отношения зависят от вас, и даже к ним; напр., может быть маменьке вздумается поехать с нами». — «Что ж, верно, она не будет нам в тягость». — «Нет, знайте, что в наши с вами отношения я не допущу вмешиваться никого, ни маменьку, никого, кроме разве тех, кого вы сами захотите иметь советником или как угодно назвать».

Теперь совершенно спокоен. Совестно, что так вынуждал маменьку, — но что делать? так было нужно. О. С. вознаградит ее своею любовью и ласковостью за минутную скорбь. О, ты будешь наилучшею дочерью, мой милый друг.

Писано 2 апреля, четверг, 10 час. вечера.

1 апреля, среда. Когда я воротился от губернатора, Сережа подал мне записку, писанную рукою Тищенко, что меня непременно ждут. Я тотчас поехал. — Меня звала Анна Кирилл., которая дала мне «будущему сыну»<sup>241</sup>, и просила написать ответ и велела быть завтра.

2-го, в четверг, в 5 час. был у них. Мы сидели у Ростислава. Наконец, к Анне Кир. — Она прочитала мои размышления о супружеской жизни, т.-е. главным образом «о приданом позвольте не говорить», что было написано в конце, и сказала, что говорила с Сократом Евгеньичем; позвала О. С. — «Вот ваша невеста». Я поцеловал у О. С. руку, Анна Кир. что-то сказала; кажется, чтобы поцеловаться. Я не хотел принуждать Ольгу Сократовну и не хотел получить от нее первый поцелуй при других. «*Asseyez-vous ici\**, у нас нет секретов с Николаем Гавриловичем» — потом послала за Сокр. Евг. «Вот ваш сын», сказала Анна Кирилловна. Мы поцеловались с Сокр. Евг. Анна Кир. сказала ему, чтобы он соединил наши руки. Недолго посидев, он стал уходить, я пошел, сказав, что мне должно переговорить с ним, но собственно я хотел с Ольгой Сокр. о деньгах, готова ли она употребить свои. — «Готова». — «Так мы едем вместе?» — «Вместе». Это было в зале. Я ушел к Сокр. Евг. и сказал, что после пасхи тотчас, и тотчас едем. Потом говорили об ученых и медицине. Наконец, снова посидел у Анны Кирилл., простился — было уже более 7 часов, пошел в комнату Ростислава. При нем разговор не вязался, но он часто оставлял нас одних, конечно, часто нарочно.

Теперь в первый раз я, когда мы были в зале, брал Ольгу Сокр. за талью, как это делается между друзьями. Мы сели рядом

\* Сядьте здесь.

на диване. Мало-по-малу ее головка оперлась на мое плечо, и когда один раз Ростислав ушел, я заложил руку за талью и мы стали сидеть, я обняв ее. Волнения во мне не было никакого. Но, наконец, я осмелился поцеловать ее в лоб, в щеку. Наконец, снова Ростислав вышел. — «Завтра обручение. Нас заставят целоваться. Я не хотел бы получить от вас первый поцелуй при других, потому что хотел бы, чтобы он был искренний. Поэтому прошу позволить поцеловать вас». — Она ничего не отвечала. Ростислав пришел, через несколько времени снова ушел. Тогда я нагнулся и поцеловал ее; она отвечала на мой поцелуй. — «Вам так хотелось», — сказала она. Ростислав беспрестанно уходил и приходил. Когда он вышел еще раз, я поцеловал ее в другой раз, но она была несколько уже недовольна моею неотвязчивостью. «У вас странный жених, робкий и вялый. Другому на моем месте этого не было бы довольно». — «Что еще?» — «Еще несколько раз поцеловать вас, этого требует приличие». — «Так вы только из приличия?» — «Да, приличие непременно должно соблюдать, но я не хочу простираť соблюдение приличий до того, чтобы делать огорчение». Я все толковал о том, что только кажусь холодным, но это только потому, чтоб не надоесть своими чувствами. — «Нет, я не привыкла к ласкам». Но я чувствовал, что мне должно больше ласкаться, и беспрестанно целовал ее волосы, ее лоб, ее левую щеку, которая была ко мне. Раз даже поцеловал ее глаза. Я снова сказал ей, что с тех пор, как я несколько узнал ее, у меня была только одна мысль о ней и что теперь я живу только ею, только мысляю о ней и о ее счастье. Когда тут сидел и Венедикт, я шутил над ее бойкостью, говорил о мужском платье, о том, что ей теперь остается только стрелять из пистолета и пить шампанское. — «Что ж? Я и поеду в мужском платье». — «Только что делать с вашими волосами?» — «Обрежу их и буду носить фальшивую косу; нет, не хочу, чтоб во мне было что-нибудь фальшивое».

Она хочет, чтобы свадьба была 29 апреля поутру, чтоб на ней никого не было и чтоб мы уехали в тот же день.

Мое расположение духа? Более спокойно, чем когда-нибудь. Меня не волнует несколько физическая сторона наших отношений. Я муж, не любовник только. А первый поцелуй? Она отвечала на него, я получил от нее залог любви. Физическая природа не волновалась во мне от него. Во мне есть сладострастие, но еще больше сердечной любви.

Прости до завтра, моя милая невеста. Завтра наше обручение. Прощай до завтра. Будь счастлива, как я счастлив тобою.

Писано 4 апреля в 8 час. утра, суббота. Описание пятницы, день обручения.

Поутру я пошел за кольцами; взял для Ольги Сокр. 3 кольца, чтоб можно было выбрать, но когда шел оттуда, она меня встретила на дороге; самое маленькое кольцо приходилось ей впору.



В 10 час. отправился к ним сказать, что папенька хотел быть раньше; приехал вместе с папенькою; папенька через несколько времени уехал за маменькою, чтоб воротиться к 12 часам, потому что к этому времени должна была отойти обедня, но ждали-ждали — их все нет. Наконец, Ольга Сокр. послала меня за ними в  $\frac{1}{2}$  2-го, но на дороге они встретились. Маменька держали себя все время по обыкновению чопорно, как женщина, не бывавшая в обществе, но желающая показать себя тонною. Ольге Сокр. это показалось строгостью и недовольством. Когда маменька входила, Ольга Сокр. подошла к ней, а она уж успела сказать, что вовсе не годилось: «Покажи же мне, которая». Когда вошла в гостиную, Ольга Сокр. подала ей скамейку и снова подала, когда она перешла к Анне Кирил. и села там; этого я не ожидал и потом сказал Ольге Сокр., что это уже слишком, что этого не должно быть, но на первый раз так и быть можно. Я тотчас взял Ольгу Сокр. и спросил, как ей нравится маменька. — «Ничего». — Но после молебна, обручения и обеда, когда мы сидели у Ростислава, она мне сказала: «Я боюсь вашей маменьки. Она должно быть очень строгая». Я чувствовал и раньше, что ей неловко, что она опасается, и потому говорил ей, что не позволю никому вмешиваться, а за обедом взял и сломал свою вилку. — «Посмотрите, Ольга Сокр. Вы понимаете, что я этим хочу показать?» За обедом маменька держала себя чопорно. Когда она будет у них в другой раз, я попрошу маменьку быть ласковее. За молебном Ольга Сокр. молилась очень усердно, и мне стало грустно за нее бедную, у меня показались слезы. И потом, когда мы сидели после обеда у Ростислава одни, я несколько раз плакал о том, что она грустит. Я много любезничал с нею после обручения. Наконец, проводил своих домой и через час, около 8 часов возвратился к ним; что было в этот вечер, напишу после обеда, перед тем, как идти к ним.

Папенька, когда ложился спать, на мой вопрос, как ему нравится Ольга Сокр., сказал, что она слишком резва. — Я сказал, что другого характера жена не может ужиться со мною и что это пройдет. Но для меня все равно, и скоро (тотчас после свадьбы) и для нее будет все равно, каковы бы ни были отношения к ней моих родных, потому что она увидит, что это для меня все равно. Кто не любит ее, тот и не может вмешиваться в наши отношения с ней.

Нынешнюю ночь я провел довольно беспокойно, потому что от страстных сцен вечером кровь моя волновалась. Она, бедная, не спала почти в эту ночь накануне обручения.

Теперь вниз к маменьке, за работу.

До 3 часов, моя милая невеста. В  $4\frac{1}{2}$  я снова буду с тобою.

Итак, я пришел к ним; они готовились идти гулять. Сначала нам все мешали. Приезжала Гуськова с женихом. Я должен был оставаться у Ростислава, но Ростислав сказал, что меня вызывают,

и я вышел. Ольга Сокр. вовсе этого не хотела. Они уехали. Рычковы вышли гулять. Ольга Сокр. была очень грустна. Я все спрашивался, отчего? Она никак не хотела сказать; наконец, когда я сказал, что для меня все легко сделать для нее, потому что люблю ее, — она сказала, в том-то и вопрос, люблю ли? Мы остались одни в ростиславовой комнате и заперли ее, чтоб не входили. Сначала Венедикт все заглядывал в окна, наконец перестал. Я, наконец, убедился, что я могу вести себя свободнее, чем до сих пор, что это не оскорбит ее, что, наконец, должен же я выказать свою нежность. И вот я начал ласки и уверения в любви. Слова мои были холодны по тону голоса, потому что сначала я старался сдерживаться, но внутренний жар их был в самом деле велик и все усиливался, и наконец я начал говорить в самом деле страстным языком, хоть не совсем давал себе волю. Наконец, она сказала, отчего она грустна. Гускова сказала ей: «Он не дворянин, кто будут твои дети?» — Я стал растолковывать ей, что это пустяки, что этого никогда нельзя считать препятствием или вещью, стоящей размышления. — «Вы слишком молоды, вы моложе, чем я думал». Вчера я в самом деле убедился во время своих ласк, что она робка, очень робка. Ласки ей приятны, но она не смеет, стыдится вызывать на них. Я сначала все говорил, что чувствую, что мало нежен, но потому, что я боюсь оскорбить ее. «Больше я не хочу; я не привыкла к ласкам». Тогда-то я, наконец, при всей своей глупости понял, что я должен быть нежнее, и стал ласкаться к ней. Сначала она села на диван с ногами, так что я сидел [у] ее ног; потом, когда моя нежность более стала свободна, я, наконец, сказал ей: «Садитесь ко мне на колени» — и хотел посадить ее. — «Я сама сяду» — и села. И я начал ласкать. Я покрывал ее лицо поцелуями. Несколько раз поцеловал ее в губы. Она несколько раз сама поцеловала меня, даже раза два отвечала на мой поцелуй в губы. Ее щеки разгорелись от моих поцелуев. Ныне я, если можно будет, позволю себе больше: я буду крепко обнимать ее, я хочу непременно поставить ее ножку на свою голову. Бог знает, до каких нежностей дойду я. Я сказал, что я могу сдерживаться, но если дам себе волю, она увидит, что я человек пламенный, и нынче я дам себе несколько воли. Моя чувственность начинала вчера волноваться, и я сказал, наконец, от чистого сердца: «Нет, О. С., с вами опасно оставаться наедине». Кровь моя волновалась. Мой жар воспламенил и ее личико. Она хочет любви, но она слишком робка, застенчива, стыдлива. Я должен быть смелее. Посягнуть на нее я не хочу, она этого и не позволит. Но я буду очень нежен, я буду пылок, хотя не так, как бы мне хотелось, но во всяком случае очень пылок, до такой степени, как только она позволит, до такой степени, чтоб только не оскорбить ее. «Неужели вы любите меня, Ольга Сокр.? Я вижу, что в самом деле любите больше, чем говорите. Теперь пока эта любовь не заслужена, потому что вы или мало понимаете, или не совсем верите тому, чем в самом деле стою я вашей любви.

Но вы любите меня». Да, она еще никого не любила и теперь любит в первый раз.

Прощай, моя робкая, моя нежная подруга, прощай, до свидания через час, всего только через один час. Пора собираться к Тебе.

Писано 5 апреля, 7 час. утра. И ныне моя ночь была очень беспокойна. Она не давала мне уснуть.

Вчера ее долго не было — она уехала в лавки, воротилась около 7 часов. Перед этим я сидел большею частью с Анной Кир. — Какой, в самом деле, странный случай: 15 марта 1833 г., в самый день ее рождения, получил Сократ Евг. перстень от государя. Сидел и с Сократом Евг. — Анна Кирил. ужасно любезничает со мною. Я ее терпеть не могу. Сократа Евг. я люблю.

Наконец, она приехала. И снова мы в комнате Ростислава одни, и снова я ласкаюсь к ней. Положить голову под ногу ее она не допустила. Но я скажу ей ныне: что для других бог, то для меня вы — и помолюсь ей. Снова она сидела на моих коленях, снова ее щеки разгорелись от моих поцелуев. — «Я ошибся в вас; я думал, что вы в самом деле смелы, а вы робкая, стыдливая, застенчивая девушка». Ныне она будет у обедни в нашей церкви и после будет у маменьки с Дарьей Кирилловной. Обедать буду у них. «С вами не всегда могу я оставаться без опасности для вас, я не буду более оставаться с вами один, — сказал ей раньше, — но я всегда предупреждаю вас, когда будет опасно, потому что забыться пред вами я не хочу».

Прощай, моя нежная, милая робкая подруга, прощай, до свидания через 2 часа.

Писано 6 апреля, понед., в 11 часов, перед отправлением к ним.

Утром, по приказанию Анны Кирилл., я отправился к ним в 8 часов, чтоб ехать за серебром. Поехали в 10 часов, раньше дожидались долго лошадей. Она выходила ко мне в белой блузе и сидела рядом со мной у Ростислава. Она была весьма мила в ней. Раньше заехали в старый собор; это было мое первое появление вместе с ней, при котором нас видели другие, потому что раньше за кольцами, но тут не видал никто. — Оттуда (от Алпатовой) она поехала к Патрикеевым, я слез у своего дома. У нас был Сократ Евг. Потом, как я оделся, отправился за ними, чтобы вместе с ними явиться домой; она с Дарьей Кир. хотела приехать к нам. Я просил маменьку быть ласковее, она держала себя чопорно. Но Анне Ив. она понравилась. Я уверял, что маменька более всех будет ее любить, что это только глупость. Когда уехали, я долго говорил маменьке, чтобы была ласковее с ней, и, наконец, начал с горя плакать. К ним отправился в час, маменьку уговорил ехать к ним пить чай. После обеда отправились гулять. Ольга Сокр. устала потому что много гуляла. Во время прогулки говорила о приготовлениях к свадьбе и о том, как ей хочется

устроить свадьбу. Теперь уж нельзя, чтобы никого не было, поэтому она шьет себе подвенечное платье. Она хочет, чтоб я сделал ей шкатулку, и ныне я все хлопотал об этом. Но некогда. Воротясь от Палимпсестова, я нашел маменьку у них — послушна, — и она была несколько ласковее, ныне просила пить чай. Любезничал также. Наконец, расстегивал сначала 2, после 3 пуговицы на ее мантилье и целовал ее в грудь, но в верхнюю только часть. И это ее оскорбляло несколько. Наконец, становился перед нею на колени и говорил ей: «Что для других людей бог, то для меня вы».

6, понедельник (писано во вторник, 7 час.) был у них до Кобылиных, не застал ее — потом от Кобылиных, не пообедав — голоду не чувствовал нисколько. Мы сидели с ней в комнате Ростислава несколько времени одни, и я сказал, что не буду целовать ее в губы, потому что это ей не нравится, и не целовал. Вообще целовал только в щеки и шею. Потом ездили к нам пить чай. Маменька была ласковее, чем раньше, но ей все-таки не понравилось. У нас собрались Федор Степ. с внуками, чтобы смотреть ее; она сказала, что ей это ничего, не очень неприятно. Сидели втроем наверху с Алекс. Яковл. Тут она велела мне надеть кольцо, и я надел и ношу его. Потом снова у них и снова несколько времени вместе с ней наедине, но весьма мало. Ныне поутру побываю у них и с 6 часов снова у них.

7, вторник (писано в среду, 12 часов).

Был у них от 10 до 11 утра, пока Ольга Сокр. [не] поехала в лавки. После снова у них; с 6 часов снова у них. Шел сильный дождь почти весь день, и когда она провожала меня, [то] сказала: «Мне жаль вас», — и я при Сереже сказал: «Вы знаете, что мне гораздо более жаль вас». Весь этот день я провел совершенно без всяких насильных любезничаний с нею; сказал себе, что не буду целовать ее в губки, потому что она этого в самом деле не любит, а не то, чтобы только стыдилась, и буду очень скромен и почтителен. Она была нежна и при встрече каждый раз сама первая целовала мне щеку. Несколько шутила и шалила. Маменьку я оставил больную, поэтому воротился [на]  $\frac{1}{2}$  часа раньше обыкновенного. Когда приехал за мною Сережа, он ушел к Ростиславу, мы остались в зале. Она села ко мне на колена. Я посмотрел на нее, и у меня в глазах навернулись слезы, — да и теперь навертываются. — «Мне жаль вас, что вы принуждены любить меня. Не такой бы должен быть у вас жених. Мало у нас порядочных людей. Нет, не таким должен был бы быть у вас жених». Я был все время совершенно скромен. Только поцеловал ее колено, когда рас- сантиментальничался. Ныне хотел быть у них в обед, не знаю, можно ли будет, — верно можно, потому что с маменькою посидит Фекла Никифоровна, но во всяком случае буду вечером. Я все более и более привязываюсь к ней, и моя любовь становится чище и целомудреннее.